

ИРИНА МИХАЙЛОВА



ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА

ПОВЕСТЬ

1

Школа, в которую я пошла работать сразу после Литературного института, находится в посёлке Калинина — самом неблагополучном районе Люберец. Раньше я даже не слышала о нём. Я родилась в центре города — в сталинской пятиэтажке, с высокими потолками и большими комнатами. Училась в Первой люберецкой гимназии, в классе, где учиться плохо считалось позором и где равнялись только на отличников, хотя тайно их ненавидели и завидовали им. Поэтому я не могла себе даже представить, что где-то может быть иначе.

Посёлок появился в советское время, когда в этом районе было принято решение построить завод имени Ухтомского. Он и построил этот район — бараки, в которых жили первые рабочие, завезённые сюда большей частью из других, более отдалённых городов, постепенно сменили на панельные и кирпичные пятиэтажки, затем появились больница, техникум и, наконец, школа. В эту школу я и решила устроиться работать учителем.

Ещё лето, и в школе никого нет — тихо и хорошо. Директор быстро представляется — учитель французского и физики. Он кивает мне на стул, а сам берёт диплом, долго его рассматривает. Мне становится неловко. Я сижу

МИХАЙЛОВА Ирина Евгеньевна родилась в 1986 году в подмосковных Люберцах. Окончила Литературный институт им. М. Горького. Публиковалась в журналах и альманахах "Дальний Восток", "Зелёный бульвар", "Сибирские огни", "Пятью пять", "Нижний Новгород", "Наш современник", "Юность", "Роман-газета" и других. Лауреат международной литературной премии "Радуга" в номинации "Молодой автор года". Член Союза писателей Москвы и Союза писателей России. Работает учителем русского языка и литературы. Живёт в Москве.

в белой рубашке и брюках, к которым ещё не привыкла, чемоданчик сжимаю так, будто его хотят отобрать. В кабинете жарко, мои ладони потеют, и я думаю — если мне нужно будет что-то подписать, ручка просто выскользнет.

— Зачем тебе школа? — спрашивает директор так устало, словно ему всё это так же не нужно, как и мне. — Со своим дипломом ты можешь работать в любом журнале. А у нас небольшая зарплата и классы непростые.

— Я согласна.

— Детей мы берём со всего района. Вот какие есть — таких и берём. Не все молодые учителя справляются. Тебе это надо? Шла бы в колледж. Там попроще.

— Я хочу работать с детьми, — отвечаю заученной фразой.

Он молчит. Не знает, что ещё придумать, чтобы я отказалась.

— Ты уже работала с детьми?

— Нет.

— Как же ты собираешься их учить?

Мне хочется спросить — а как он сам их учит? Но я только пожимаю плечами. Удивительно — он отговаривает меня. Директор школы вместо того, чтобы сказать стандартное “мы вам позвоним”, меня отговаривает.

— Вы не хотите меня брать? — спрашиваю.

— Не хочу. Дети привыкнут, а ты сбежишь через неделю. Придётся опять кого-то искать. Почему Литературный институт? — опять смотрит в диплом. — Хочешь стать писателем?

— Возможно.

— Ладно, — отдаёт мне документы, — может быть, тебе будет легче понять этих детей. Ты не так уж далеко ушла от них.

Может быть. Может быть. На самом деле, мне всё равно. Я не собираюсь их понимать. Мне нужно, чтобы меня оставили в покое, — вот и всё, что мне нужно. Эта школа, скрытая в посёлке от всего остального мира, кажется мне самой подходящей. До всего остального мне нет абсолютно никакого дела.

Я выхожу на улицу и вдруг чувствую — через неделю осень. Лето позади. Всё пойдёт по кругу. Заново. И я стараюсь запомнить дорогу сюда.

Мне дали три класса — два пятых и один восьмой. В восьмом — классное руководство. Мой кабинет — в конце длинного, словно тюремного, коридора. С левой стороны — большие окна в деревянных рамах, с мутными стёклами и пыльными занавесками. Справа — туалет для девочек, директорская, совмещённая с секретарской, кабинет математики, следом — истории и потом — мой. Я захожу и плотно закрываю за собой дверь.

Мой кабинет именно такой, какие я всегда терпеть не могла. Зелёные стены, сверху на четверть побелённые, салатовые шторы, желтоватые батареи, потолок в разводах, страшный огромный вентиляционный короб, который свисает с потолка. Я поддвигаю парту ближе к подоконнику, на парту ставлю стул и залезаю на него. Шторы пахнут пылью, она накопилась в них за целый год. Я снимаю их и скидываю на пол — они светло-зелёной кучкой теперь лежат внизу.

Шкаф в конце кабинета завален какими-то бумагами, старыми тетрадами, портретами писателей, книгами, учебниками. Я роюсь в них и нахожу несколько плакатов со сложными предложениями и портрет Лермонтова.

Всё это я пытаюсь развесить в моём новом классе. Вешаю прямо на стены, на скотч, около доски. Пока это всё, что висит в моём кабинете. Я сбрасываю шторы, засовываю их в пакет и, точно вор, иду к выходу.

* * *

Мама съехала летом, пока меня не было дома. Почти все свои вещи она забрала с собой — их за всю мамину жизнь здесь оказалось не так много. Что мама не взяла — так и осталось валяться по углам, словно разбросанное нарочно. Я собрала юбки и блузки в большой пакет и поставила у выхода.

Сегодня вечером мама осталась у меня ночевать. Мы ложимся в одной комнате. Совсем как раньше.

— Как вы живёте? — спрашиваю.

Мама познакомилась с Сашей год назад. Через полгода после развода с моим отцом. Он тоже был разведён. Работал грузчиком на складе, где работала сама мама. Там и познакомились. Она тогда привела его в нашу квартиру, и он мне ужасно не понравился. Огромный рост, большие, как у великана, руки, грубый громкий голос, словно он всё время пытался кого-то перекричать, манера на всё отвечать: “Ничего, прорвёмся!” — точно мы на войне. Нисколько не похож на моего отца. Мой отец невысокий, молчаливый, тихий. А этот — верзила. Когда он заходил к нам, приносил с собой вой и шум тысяч заводских труб. Он так некстати смотрелся в нашей маленькой квартире, словно не помещался в ней.

— Надеюсь, он не будет жить с нами, — сказала тогда я. — Мне бы не хотелось такого отца.

— У тебя уже есть один, — ответила мама.

Они сняли комнату. Мне казалось естественным и правильным, что уходит она, а не я. С тех пор, как мама ушла, мы почти не говорили друг с другом.

Я отворачиваюсь к стене и слушаю, как дышит мама. Мне всегда было спокойно от того, что она спала рядом, и всё казалось таким простым и разрешимым. Любая проблема тут же растворялась, когда я ложилась и просто слушала.

— Уснула? — мамин шёпот.

Я молчу, и она отворачивается. Чувствую — она крестится на ночь. И, наверное, крестит меня. Она не особо верит, не ходит в церковь, но думает, что это может помочь. А я верю, но иногда мне кажется, что не может.

2

Отец приехал, когда Вика окончила седьмой класс. Приехал неожиданно, на своей фуре, в конце лета, не позвонив, впервые за год. Вика не сразу узнала его.

— Иди, встречай, — говорит ей бабушка. Она первая увидела его в окно. Начинает тут же накрывать на стол. — Иди, чего стоишь?

Вика не хочет. Ей кажется, что что-то случилось, что отец не приехал бы просто так. Он не звонит в дверь и даже не стучит — заходит так. Дверь в маленьком Балашове закрывается только на ночь. Он сразу приносит в дом незнакомые запахи, суету, шум.

— Вы всё не запираетесь? — смеётся он. Громко, и Вике кажется — как-то неестественно.

Он на неё почти не смотрит, проходит сразу на кухню. Медленно раздевается. Потом снимает футболку, бросает прямо на пол. Вика её подбирает, относит в ванную. От неё пахнет машиной и мужским запахом, от которого она отвыкла.

— А чего у нас брать-то? — бабушка толкает внучку. — Иди, собери на стол в комнате. Не здесь же сидеть.

Вика из комнаты наблюдает, как отец долго умывается, моет руки, плечи, наклонившись над раковиной.

— А чего Наталью не привёз? — кричит бабушка с кухни. — Пожили бы.

— Работает Наташка.

Бабушка молчит. Злится, что приехал один, без жены — её дочери. Со скучилась. Не видела год. А раз не привёз — до следующего лета уже не увидит.

Отец, не одеваясь, в одних трусах, проходит в комнату, садится в кресло у стола.

— Пятнадцать часов ехал, — говорит, — устал.

Бабушка собирает на стол всё, что есть. К концу августа уже готово варенье, солёные огурцы, маринованный чеснок.

— Когда обратно? — спрашивает бабушка.

— Завтра надо выехать.

— А чего так скоро?

— Работа у меня. Один день простоя здесь — пять тысяч там теряю.

Вика смотрит на отца, как на незнакомого. Она помнит черты его лица — нос почти такой же, как у неё. Плечи, широкие скулы. Цвет его глаз, его руки — большие, мужские, с синими проступающими венами. Помнит его голос — не такой, как по телефону — низкий, хриплый, точно при простуде.

Отец быстро ест, словно торопится. Без хлеба, не дождавшись чая. Наверное, так привык в Москве. Потом отодвигает тарелку и закуривает прямо в комнате. Бабушка прикрывает дверь, но Вика слышит её шёпот.

— У ребёнка-то спросил — хочет она ехать? А то решили они... Девочка выросла, друзья у неё тут.

— Там найдёт.

— Всё у тебя легко!

Значит, он приехал за ней. Она всегда знала, что придет отец и заберёт её. Через год или два. Или когда она окончит школу. Она знала, что он не вернётся сюда жить. Никто не возвращается из Москвы обратно.

— Ну что, — отец заходит в комнату, обнимает Вику за плечи. Не так, как обнимал раньше. По-другому. — Завтра поедem.

Говорит как-то неуверенно. Точно просит. Хотя он не привык ничего просить.

— Что я буду там делать? — спрашивает Вика.

— А здесь ты что делаешь?

— Живу.

— И там жизнь.

Он стоит и не знает, что ещё сказать.

— У меня там никого нет, — говорит Вика.

— А что у тебя здесь? — отец садится на кровать, опять закуривает и стряхивает пепел на пол. От него пахнет клеювенной настойкой и одеколоном. — В этом болоте? Что у тебя здесь? Девять квадратных метров? — отец окидывает глазами комнату, которую видел много раз. — И бабка. А другого ведь не будет. Никогда. Ничего не будет. — Он притягивает Вику за руку, и она садится с ним рядом. — Ты знаешь, какие там дома, какие там люди? Они всё могут. Всё, что захотят. Что ты здесь можешь? Ничего. А там — там всё есть. Всё. Деньги там валяются под ногами. Тысячи. Только поднимай. Я могу так раскрутиться! Я там квартиру отдельную снял. В Люберцах. От Москвы недалеко. Потом что-нибудь ещё придумаем. Ну, что у тебя здесь?

Вика молчит и вдруг понимает — он ничего не знает о ней. Как она будет жить с ним?

Хорошо, что летом никого из друзей нет. Ей пришлось бы как-то прощаться. А она хотела бы оставить им всем записку: “Я уехала, а вы остались”. Им всем. Учителям, одноклассникам, друзьям. Они все останутся здесь. Навсегда. Им некуда ехать. У них ничего не будет. А она сюда никогда не вернётся.словно она умерла, словно её никогда не было в этом городе, на этой улице. Они пойдут по своим делам, своими дорогами. Вика знает их наизусть. Они все знают их наизусть. И могут ходить по ним с закрытыми глазами. А у неё будет своя дорога. Много дорог. Сотни. Их в Москве не сосчитать.

Из её класса ещё никто никуда не уезжал. Она будет первой.

3

Утром, перед своим первым днём в школе, я жутко волнуясь. Открываю ящик стола, где храню сигареты, зажигалку, блюдце вместо пепельницы. Мама не любила, когда я курю в квартире, — приходилось прятать. Сейчас, когда мама живёт отдельно, прячу по привычке.

Закуриваю. Наливаю чай. Капаю в блюдце, чтобы не дымило. Выходить

через тридцать минут. Думаю, что надеть. У меня и одежды подходящей нет. Только майки, джинсы, кеды, как у подростка. Ищу джинсы попримичней, без потёртостей и рваных карманов. Потом передумываю, надеваю брюки. Вроде ничего. На учителя, конечно, всё равно не похожа.

Смотрю в зеркало. Маленького роста, улыбка какая-то кривая, волосы короткие — надо бы отрастить. Сутулюсь. Выпрямляю спину. Ну, и какой я учитель? Я бы никогда не взяла себя в эту школу, ни в какую школу. Видно, у них совсем там дела плохи, раз берут такую, как я.

Школа недалеко, и я иду пешком мимо церкви. Ещё нет восьми, но уже бьют колокола. Тревожно и зыбко. Никого нет, и от этого колокола бьют сильнее и тревожнее. Словно хотят кого-то разбудить. Какая-то девушка стоит перед входом в церковные ворота, но не заходит. Долго крестится. Вид у неё — словно решается на что-то.

Я давно не заходила в церковь. И, наверное, тоже стояла так, думая, что меня никто не видит. Я иду мимо. Мимо бесконечного звона этих колоколов, от которых кружится голова, и всё вокруг превращается в бессмысленный поток никому не нужных воспоминаний.

Мне семь лет. Бабушка спрашивает — знаю ли я какую-нибудь молитву. А я не знаю ни одной. Тогда она берёт толстую книгу, всю исписанную от руки, выбирает и долго, нараспев, несколько раз, читает мне “Отче наш”.

— Я умру, а ты будешь молиться за меня, — говорит она.

Она умерла, когда я пошла в девятый класс, но я ни разу не молилась за неё.

В школе уже полно народу. Бегут куда-то по своим делам. Я не могу понять, кто из них родители, кто — учителя, а кто — дети. И как найти свой класс — не имею представления. Я ещё никого не знаю. Стою посреди коридора с нелепой табличкой, на которой синим цветом написано 8 А.

Из актовом зала выходят люди. Обходят меня, идут по своим классам, не обращают на меня никакого внимания. Кажется, почти все вышли, никого не осталось, и я стою одна.

— Нам к вам идти? — Она кажется старше меня, но я догадываюсь — ей всего четырнадцать, и она, похоже, в моём классе.

— Видимо, да, — отвечаю я. — Больше здесь никого нет.

— Тогда я зову остальных. — Она уходит, но оборачивается. — Уберите эту табличку. Это смешно.

Я долго не могу открыть ключом дверь своего кабинета. Пока, наконец, один из парней не ударяет по ней кулаком.

Я как учитель захожу первой. Они — сразу за мной. Садятся подальше от меня, по трое и по четверо за одну парту. Болтают, смеются. Лето прошло, давно не виделись, новостей много.

Первый урок — классный час. Но я совершенно не знаю, что им говорить. Поэтому просто пишу на доске своё имя и отчество. Получается плохо, криво, не так, как должно быть. И отчество такое длинное, что не помещается в одну строчку. Я боюсь сделать ошибку. Стираю. Пишу заново.

Они сидят за пустыми партами, сбившись вместе, точно перед опасностью. Начинают шуметь — кто-то смеётся в голос, кто-то включает ролики на телефоне, кто-то толкается, кто-то громко кричит, пытаюсь кого-то переспорить.

— Сядьте, пожалуйста, по двое! — Я начинаю их перекрикивать.

Но они не двигаются с места.

— Сядьте по двое! — кричу я ещё громче, но никакого результата нет.

— Достаньте, пожалуйста, дневники! — Я отчаянно пытаюсь перекричать шум. — Вы должны записать новое расписание!

Стало только хуже.

— У меня нет дневника! — кричит один.

— Я ещё не купил! — второй.

— Зачем он вообще нужен?

— Напишите на доске — мы сфоткаем.

— Хорошо! Хорошо! — сдаюсь я. — Не надо дневников. Я раздам листочки. Запишите на них.

Но они опять выкрикивают, как будто не умеют говорить тихо.

— У меня нет ручки!

— Дайте ручку!

— У кого есть?

Теперь крики перемешиваются с громким смехом.

— Я дам ручки! — Я уже не замечаю, как тоже кричу. — Передавайте друг другу. Я запишу расписание на доске.

Я отдаю им все ручки, какие были у меня, и долго, медленно вывожу на доске их расписание уроков. Я исписала всю доску, но, когда оборачиваюсь, вижу, что никто ничего за мной не записывал. Многие сделали из моих листочков самолётики и бросают ими друг в друга. Вспоминаю, что должна зачитать им правила поведения в школе, а они должны послушать и расписаться. Но я уже понимаю, что послушать и расписаться будет сложно.

— Я зачитаю вам правила поведения, — беру распечатку. — Пожалуйста, послушайте. Вы должны приходите не позднее восьми пятнадцати. Вы не должны опаздывать на уроки. У вас должна быть с собой сменная обувь и физкультурная форма, если она нужна... Вы должны...

Я пробиралась сквозь шум и голоса двадцати человек, словно путешественник в тропиках через заросли и топи. Но меня абсолютно никто не слушает. Наконец, тот парень, который открыл дверь кулаком, встал, подошёл ко мне, забрал эту распечатку.

— Но я ещё не прочитала, — попыталась возразить я.

Он обернулся ко мне.

— Мы должны расписаться? — спросил он. — Тогда вы уже перестанете орать?

Я машинально кивнула. Тогда он расписался в ней и передал остальным, а я продолжала растерянно стоять у доски.

— Да вы не старайтесь, — слышу я голос, — вы у нас уже третья. Так что вы тоже долго не задержитесь.

Девчонка сидит на второй парте и смотрит на меня открыто. Длинные тёмно-русые волосы, зелёные глаза. Сидит с мальчиком, держит его за руку. Он ей быстро надоеет — она знает это, но ей нравится держать его за руку, чтобы все видели. Парень сидит у самого окна. Он в наушниках, смотрит что-то в телефоне. Видимо, пришёл просто отсидеть своё время, чтобы ему не поставили пропуск. Ещё два парня стоят у стены и о чём-то агрессивно спорят, вот-вот подерутся. Две девчонки отгородились планшетом. Ещё одна громко ищет зарядку для телефона, залезая во все сумки.

Я смотрю на них — пока для меня это просто строчки в журнале. В этой массе без имён и фамилий я ещё никого не различаю, но они уже мне не нравятся.

Тихая и очень спокойная завуч по средней школе садится за парту. Она ведёт биологию, в основном, в старших классах. У неё неторопливая правильная речь, тихий голос, спокойная интонация. Именно так я себе всегда представляла учителя биологии, разбирающего клетки и цепочки ДНК. Именно так, наверное, должен выглядеть учитель, а не так, как выгляжу сейчас я, — растерянно и суетливо. Я думаю, что ей больше подойдёт работать в институте, не с детьми, а со взрослыми уже студентами. У неё и имя подходящее — Любовь Александровна. Нараспев, не спеша, достойно. Но она здесь, как и я, и сейчас мы ничем друг от друга не отличаемся.

— Справляешься с восьмым? — спрашивает она.

— По-моему, не очень, — честно признаюсь, — не смогла даже усидеть их и успокоить.

— Это нормально, — она махнула рукой, — они у нас особенные. Поговори с Галиной Ивановной. Она работала у них в том году. В мае она сказала: “Необучаемые...” — и посоветовала распустить этот класс. Может быть, мы так и сделаем. Так что продержись немного. Но вообще, — она как-то задумалась, — они любят молодых. Может, у тебя как раз получится.

— Не знаю. По-моему, им было всё равно, есть я в классе или нет.

— Они привыкнут. И ты тоже. Я в этой школе много лет — и чего только не видела. Но ясно одно — все рано или поздно выпустятся. Надо просто их приручить.

Она уходит. А я остаюсь и думаю о том, что не хочу и никогда не хотела никого приручать, приучать, не хотела никому нравиться. И совершенно не знаю, как это делать.

Мама звонит мне редко и только по делу. Мы никогда не говорим долго. Всего несколько слов — только самое необходимое. Точно хотим убедиться, что мы живы. Иногда мне хочется набрать мамин номер и просто послушать голос. Но я знаю, что она узнает меня и будет кричать в трубку: “Этоты? Перезвони мне, я ничего не слышу”. Поэтому я не звоню. Особенно с тех пор, как мама ушла. Даже раньше — с тех пор, как умер мой отец.

Девятнадцатого декабря отцу исполнилось бы шестьдесят лет.

Сегодня год, как он умер. Мама знает, что в этот день мне не надо звонить, но всё равно звонит. Я не беру трубку ни домашнего, ни мобильного. Не люблю все эти разговоры, что надо бы идти на кладбище, и всё такое... Я не была там с лета, а в церкви не была с отпевания.

Его отпевали в той церкви, мимо которой я теперь хожу в школу. Большая, красивая церковь. Белая. Её недавно отстроили. Собирали деньги на строительство со всех Люберец. Отец и сам жертвовал им деньги — я видела у него именную брелок. Нашла после его смерти в коробке с дедовыми медалями. “Жертвуя — обретаем”, — написано на нём. И имя моего отца. Там же нашла иконку “Неупиваемая чаша”, которую я ему подарила когда-то. Я и не знала, что он её хранил.

После пятого звонка мне пришлось взять трубку.

— До тебя не дозвониться, — говорит мама.

— Я не пойду никуда.

Мы с ним тогда почти не общались и редко созванивались. Поздно вечером позвонила соседка, попросила меня вызвать ему “скорую”. Отец умер в ту же ночь в Ухтомской больнице. Скорее всего, его даже не успели посмотреть. Привезли в одиннадцать вечера, а через полчаса он умер. Из больницы позвонили только утром.

Потом начались разговоры: “Надо же, как рано умер!..” Как же я не увидела их слова — почему все удивляются? Я знала, что он умрёт. В эту ночь или после. Или задолго до... Я знала, что он умрёт. С тех пор как они развелись, с тех пор как поменяли квартиру, с тех пор как он стал жить в этой пропитой насквозь коммуналке и сам стал пить непробудно. Это должно было случиться — странно, что не случилось раньше.

— Он звонил мне за неделю до смерти, просил денег. Я знала, что он пьёт со своего дня рождения, но ничего не сделала, — рассказывала я маме.

— Что тут сделаешь! Что сейчас об этом говорить?

Мы не говорили. Мама звонила всем сама. Я слышала только одно. “Умер. Двадцать восьмого ночью. Хороним тридцать первого”. И так несколько раз. Хоронить его никто не пришёл. Только я, мама, соседи по коммуналке, в которой он жил последний год, кое-кто с работы.

Телефон звонит шестой раз. Я отключаю его и выхожу на улицу.

Когда я шла работать в школу, я представляла себе многое — маленькую зарплату, большие классы, восемь уроков в день, бесконечное заполнение журналов и отчётов, сложные темы и каверзные вопросы. Но я не представляла, что основная моя работа будет сводиться к тому, что первую половину урока я пытаюсь отобрать у учеников карты, а вторую, плюнув на эти бесполезные попытки, пытаюсь объяснить хоть что-то, отвлекаясь на бесконечные их разговоры, замечания, которые не имеют никакого отношения ни к вводным словам, ни к сложным предложениям, ни к Пушкину.

Сегодня я слышу шорох у своего кабинета. Мои восьмиклассники толкаются у хрупкой деревянной двери, которая вот-вот развалится от их напора, заглядывают в щёлочку, шепчутся.

— Забей! — слышу я уже знакомые голоса. — Мы всё равно ничего делать не будем. Лично мне плевать.

— Ага! А аттестат тебе не нужен?

— Аттестат и так дадут. Школе показатели нужны, ты чо! Статистика. Так что живём, как раньше. Всё равно она ненадолго. Сатана Ивановна только одну четверть выдержала. Эта тоже скоро свалит.

— А если не свалит?

— Свалит, ты чо, нас не знаешь?

Их набралось уже человек двадцать. Двадцать моих восьмиклассников.

Они заваливаются сразу все вместе с шумом, смехом. Садятся на последние парты, спиной ко мне, к доске, как всегда, сдвигают с грохотом стулья. Я сначала не обращаю внимания и молча раскладываю на своём рабочем столе учебники, методички, пособия, тетради, ручки. Всё это я купила недавно и разложила в две аккуратные стопочки — пятый и восьмой класс.

Прозвенел звонок, но его почти не слышно из-за шума, который стоит в кабинете и в коридоре. Я закрываю дверь.

— Звонок был. — Этой фразе я уже научилась.

Ученики должны встать, поприветствовать меня, приготовить учебники, тетради и сесть. Но ничего этого не происходит. Несколько девочек сели поближе ко мне. Остальные как сидели на последних партах спиной, так и продолжают сидеть. Только кое-кто обернулся, сел влоборота и украдкой поглядывает — что я буду делать.

Я беру линейку и стучу ею по столу. Но этот стук тоже тонет в общем шуме. Пишу на доске список вопросов, на которые они должны сегодня ответить. Но они даже не смотрят в мою сторону, словно демонстративно. Я бессмысленно стою у доски в центре класса. Несколько раз я пытаюсь перекричать их, но перекричать двадцать человек, которые говорят все одновременно и громко, невозможно.

— Не обращайте внимания, они всегда так, — говорит мне девчонка, которая села на первую парту, открыла чистую тетрадь в линейку и приготовилась писать.

— Не понимаю, как же вы всё это время учились? — спрашиваю.

— Вот так. Кто хотел, сидел ближе к доске, кто не хотел — сиделся назад.

Я вспоминаю, как вычитала однажды на каком-то педагогическом сайте, что в любом классе есть лидер, что надо его найти и переманить на свою сторону. Я собираюсь с силами и подхожу к последним партам.

— Кто у вас тут самый главный? — спрашиваю.

Они на секунду затихают. Задумались. Смотрю на них. И так, нас двадцать один. Мы ничего не знаем друг о друге. Мы оказались здесь случайно, а через год также случайно окажемся где-нибудь в другом месте. С другими людьми. А по сути — ничего не изменится. Нет никакой разницы — сделаю я ошибку в своём отчестве или нет. Они его всё равно не запомнят. Как и я не запомню эти двадцать имён, до которых мне нет абсолютно никакого дела.

— Ты? — я смотрю на самого высокого из них. В моём представлении, кто выше — тот и главный.

Класс взрывается хохотом.

— Осёл, ты теперь будешь главный, — гогочут они.

Высокий парень краснеет, его лицо, некрасивое и рябое, становится ещё некрасивее. Только сейчас я замечаю, что он очень худой и какой-то весь нескладный.

— Тогда кто? — спрашиваю уже не так уверенно.

Они молчат. Сидят теперь, чуть притихнув, уткнувшись в телефоны. Один — маленький и невзрачный — лёг на парту, на всякий случай положив учебник и неподписанную тетрадь. Он сидит за партой один, без компании, но видно, что он ждёт только приглашения, возможности быть допущенным ко всем остальным. Другой тоже сидит один, но, прислонившись к окну и развалившись на парте, включил громкую музыку в телефоне и слушает её.

Некоторые девчонки сидят отдельно, чуть ближе ко мне, и иногда по-сматривают на меня, ждут: если я сумею всех построить, они тоже подчинятся, если нет — то нет.

Но основная масса — двенадцать человек — сидят вокруг одной парты, навалившись друг на друга. Я замечаю у них в руках карты, которые они тайком раздают под партой. Отмечаю про себя — “тайком”, значит, они всё-таки боятся.

— Хорошо, — говорю я, — давайте так. Запишем сегодня основное, а потом можете делать, что хотите.

— Нет, — говорит один из них. Невысокий, плотный, с сильными руками. — У нас всегда было так. Кто хочет — тот пишет. Кто не хочет — сидит тут.

— Но вы же мешаете. И если кто-то зайдёт... — мой голос становится совсем тихим. Его уже и не слышно. — Тебя как зовут? — спрашиваю у этого невысокого. Догадываюсь, что, видимо, он и есть самый главный тут.

— Караулов Андрей, — говорит он и отворачивается от меня.

— Хорошо, — сдаюсь я. — Сегодня можете отдыхать. Но завтра вы сядете по двое, как и положено, принесёте тетради и будете учиться.

Андрей даже не ухмыльнулся. Он не посмотрел на меня и ничего не ответил, как будто он здесь учитель, а не я. Может, так оно и есть.

Я возвращаюсь к себе и сажусь за свой стол. Открываю журнал.

— А тебя как зовут? — спрашиваю у девчонки с первой парты.

Она всё ещё сидит с открытой тетрадью, готовая делать то, что я ей скажу. Мне хочется спросить — почему она здесь, почему не идёт ко всем?

— Эля, — говорит она тихо.

— Ты, наверное, отличница?

— Нет. С русским не очень. И с химией.

Я рассказываю ей одной тему урока и мысленно молюсь, чтобы никто из других учителей не зашёл ко мне. Мне почему-то стыдно за себя.

Какой-то парень тянет руку.

— Да! — кричу ему я.

— Вы должны дать нам талоны на обед, — говорит он. — Тем, кто ест льготно в столовой.

— А кто у вас ест? — спрашиваю я и ищу талоны.

Про обеды в столовой мне никто не говорил.

— Я!

— И я!

— Я тоже!

— Ты-то чего?

— Я всегда ем!

— Так, так, подождите! — останавливаю их я. — Не все вместе. Я должна записать фамилии и причину льготы. Давайте по одному.

— Савинков. Потеря кормильца.

— Разина. Малоимущие.

— Смирнов. Нет отца.

— Фомичёва. Многодетные.

— Сухов. Бабка одна.

Они говорят быстро, тараторя. Я еле успеваю записывать.

— Я поищу талоны и принесу вам, — говорю.

— Мы вообще-то сейчас должны есть, — говорит один из парней, — как мы пойдём? Я голодный.

— Да ты всегда голодный! — смеются над ним.

— О своём русском вы подумали, а об этом нет, — обиделся тот парень, который спросил про талоны, — вам на это плевать.

— Тебя как зовут? — спрашиваю я.

— Какая вам разница, как нас зовут, — вмешивается Андрей, — просто найдите эти талоны и дайте нам. Мы сами раздадим.

Я не успеваю ничего сказать — звенит звонок.

Они, не обращая на меня внимания, с шумом выходят, оставляя после себя бумажки, ручки, карандаши, перевернутые стулья, которые с грохотом

падают. Всё это валяется теперь — и кабинет, украшенный мною плакатами с весёлыми надписями “Здравствуй, осень!” и “Первое сентября”, смотрится уныло и грязно. Остаётся только один парень — тот самый, с красным некрасивым лицом.

— Почему ты не уходишь? — спрашиваю я.

— Я дежурный. У вас веник в углу, как у Галины Ивановны?

Не дожидаясь ответа, он берёт веник, совок и начинает молча, как-то обречённо подметать пол.

— Продержаться в школе месяц — значит, остаться надолго. Через месяц становится понятно, что ты из себя представляешь, кто твои ученики и сможешь ли ты работать, — говорит мне в маленьком туалете для учителей Валентина Борисовна.

Её кабинет рядом с моим, и она слышит всё, что происходит в моём классе. Споры, ругань, мои уговоры, их протесты. Несколько раз она заглядывала ко мне, и тогда мои ученики успокаивались и сидели какое-то время тихо. Её они боятся. Она грубая, всегда говорит конкретно и прямо, даже с учениками, поэтому её боятся и отчасти уважают.

Она закуривает сигарету и протягивает пачку мне. Курить в школе категорически запрещено. Даже на территории. Но все курят. Охранник закрывается у себя в комнатке. Информатик дымит в лаборантской каждую перемену, пока нет детей — и под конец дня туда невозможно зайти. Кто-то бегаёт за школу. Но большинство закрывается в маленьком учительском туалете на первом этаже.

Не курить в школе нельзя. После каждого урока хочется постоять спокойно одной или поговорить со взрослым человеком, поэтому я спускаюсь на первый этаж в нашу негласную курилку.

— Тебе надо выработать тактику, — говорит Борисовна, — с каждым учеником свою. Одного надо пожалеть и понять, другого — только ругать, с третьим договориться. Это и есть индивидуальный подход, а не то, что тебе рассказывали в институте. Когда я пришла сюда первый год, мне дали выпускать класс. Первый год — и сразу выпускной, представляешь? В классе тогда было пятнадцать мальчиков, а это, сама знаешь, что такое. Водка в пластиковых стаканчиках, сигареты. Решили куда не везти, отмечать выпускной здесь — в школе. Закрыли двери, окна. Я лично проверяла карманы на входе. Сумки свои они сложили в кабинете, и мы их заперли. Они до утра за мной ходили — я ни в какую. Вручили аттестаты, накрыли им стол, потом дискотека. И хоть бы один улизнул или напился — все сидели грустные, но трезвые. Но чего нам это стоило! Я лично грудью стояла, закрывая собой выход, и пока всё не закончилось, ни один не вышел.

Она тушит сигарету о раковину и выбрасывает в мусор.

Я думаю о том, что я бы не смогла их сдерживать. Это значит, что я плохой учитель? И как далеко сейчас моё бывшее представление о функции учителя в школе от того, что мне приходится видеть, слышать и делать здесь.

Даже через два месяца жизнь в восьмом классе не стала иной. Они по-прежнему отказывались садиться по двое, отказывались придвигаться ближе ко мне и отказывались носить учебники и тетради. Я взяла в библиотеке ещё один комплект учебников и раздаю им на уроке. Иногда они что-то читают и пишут, но, в основном, только делают вид. При этом они всё время ругаются на уроках, выясняют отношения, спорят, орут друг на друга. Я удивляюсь — неужели нельзя общаться на переменах или после школы? Но у них как будто срабатывает какой-то рефлекс, как у животных. И, заходя в класс, они тут же начинают что-то друг другу доказывать, как быки, оказавшиеся на одной узкой улочке.

Недавно я дала им написать сочинение “Какие книги я читаю?” Даже не сочинение, а ответы на вопросы.

1. Какие книги я прочитал за лето?
2. Какие книги я читал не из школьной программы?
3. Какие книги я люблю и почему?

Вопросы на доске я писала дольше, чем они свои ответы. Сейчас эти листочки с их ответами лежат у меня на столе.

Из двадцати листочков три были абсолютно пустые, — кроме фамилии, на них ничего не было. Ещё три работы были очень краткие:

1. Никакие
2. Никакие
3. Никакие

На одной работе было написано крупно поперёк листа одно слово — “НЕ КАКИХ”. На ещё одной просто и понятно — “ПОЖАЛУСТА НЕ СТАВТЕ ДВА!”

Некоторые листочки были всё-таки исписаны. Я бросаю взгляд на них.

“Я не люблю книги, потому что в них всё не правда. Зачем тратить время и придумывать что-то? Я люблю играть потому что это лучше. Я читаю только в школе но всё равно не люблю”.

“Я не люблю читать потому что читаю плохо и меня ругают (и ещё смеются другие). Это обидно поэтому я лучше буду молчать”

“Книги... Не знаю. У меня с ними сложные отношения. С одной стороны хорошо что они есть и можно узнавать что-то новое и интересное. Но с другой это сложно прочитать книгу. Нужно внимание, а все говорят что у меня его нет. Вообще я читаю только учебники, потому что они нужны для школы”

“Я люблю читать. Но я не люблю школьную программу. Это скучно. В 7 классе мы читали про детство писателя Горького, зачем мне знать про его детство?! Я люблю фантастику и ужасы. Я вам советую прочитать. Если хотите... Я вам принесу. Только не говорите остальным...!!!!”

“Если бы у меня было столько же свободного времени, сколько у писателей, я бы читал. Но я очень занят. Я больше люблю спорт. Такой как футбол. А вы любите спорт? Какой?”

“Вы читаете книги потому что это ваша работа. А у меня другая задача. Я больше люблю компьютер”

“Перестаньте задавать эти вопросы про книги. Я НЕ ЛЮБЛЮ ЧИТАТЬ!”

Только четыре работы были действительно написаны. Это четыре девочки. Одну из них я уже знала — это Эля с первой парты. Трёх других ещё нет.

Их листочки, помятые, исписанные кривыми детскими нетвёрдыми черками, заставили меня улыбнуться. Первый раз за время здесь. Они так искренне, можно даже сказать, от всего сердца, отвечали на эти вопросы, старались, когда могли бы просто ничего не писать. Но они написали. И написали очень много. Трое обещали принести свои любимые книжки. Ещё двое обещали, если я задам, что-то прочитать. Ещё несколько написали, что стесняются читать вслух и попросили никогда, ни при каких обстоятельствах, их не спрашивать. Кто-то умолял не ставить “два” или хотя бы не ставить в журнал. Кто-то написал, что его любимый предмет — география, и он читает только карты. Кто-то — что химия, но таблицу он ещё не выучил. Хотя о любимом предмете я не спрашивала. Это должно было стать вторым сочинением.

Последний листок — Андрея Караулова.

“Мне не нужны в жизни книги. Зачем их вообще писать? Писатели — это бездельники. В них нет смысла. Я никогда не читал и не буду читать. Так что не тратьте время, чтобы заставить меня. Это бесполезно. Спросите у Галины Ивановны. У вас ничего не получится. Вы уйдёте так же, как и все другие. Запомните это. П. С. И не делайте вид, что вам важно наше мнение. На самом деле, вам на это плевать. Вы просто делаете свою работу”.

Его сочинение, написанное без ошибок и аккуратно, теперь лежало сверху. Самое удивительное — я могла согласиться с каждым его словом.

Больше всего мне нравятся первые уроки в восьмом классе. На них обычно никто не ходит, кроме тех, кто давно не был, и им надо “засветиться”, как они говорят, и тех, кто пытается хорошо учиться. Поэтому на

первом уроке обычно тишина. Я могу что-то рассказать тем десяти ученикам, кто всё-таки пришёл.

Но сегодня ажиотаж. Как-то само собой класс разделился на мальчиков и девочек и громко спорит.

— Да она дура просто и всё, — доносилось с половины мальчиков.

— Сам ты дурак! — Это девчонки. — Молчи, вообще!

— Сядьте! — говорю я.

Но класс уже завёлся, несмотря на раннее утро. Девочки готовы броситься на мальчиков. А мальчики смеются и обороняются от них орфографическими словарями, которые всегда лежат на последней парте.

Сегодня я пытаюсь рисовать на доске схему сложносочинённых предложений. Мел крошится — он уже весь исписался, и остался только маленький кусочек.

— Можно я схожу за мелом? Я знаю, куда! — кричит с места парень.

Это Ярослав Чекалин, которого все называют Чекушка. Он очень подвижный и весёлый, всё время смеётся, и я не видела его грустным никогда, хотя настроение у моих учеников меняется каждый урок.

— Ага... К себе домой пойдёт, и больше мы его сегодня не увидим, — смеётся девчонка, которая сидит перед ним.

Он смял в круглый маленький комочек свой листок, где пытался срисовывать за мной с доски схему, и бросил в неё. Я подхожу к ним и встаю между. Я уже знаю — стоит мне в такой ситуации отойти, как потасовка продолжится. Поэтому я бросаю свои схемы и стою между ними.

На свой страх и риск я возвращаюсь к доске, продолжаю чертить схему. Но меня уже никто не слушает. Девчонки теперь шепчутся между собой. А этот светленький весёлый парень, практически единственный мой слушатель, теперь погрустнел и опустил голову.

Через минуту опять потасовка.

— Что такое? — я опять встаю между ними, как вставала чуть ли не каждый урок на этой неделе.

— Да их подружка залетела, — ухмыльнулся Данил, — вот они и лезут к нам. Тоже, наверное, хотят.

— Какой же ты идиот! — Настя бросила в него учебник и угодила в плечо.

Данил отбросил учебник обратно, но промахнулся.

— Так, всё! — вмешиваюсь я. — Сядьте, пожалуйста. Всё время ругаетесь! Сколько можно. Мне что, родителям звонить?

Они сели. Данил отвернулся и уткнулся в телефон.

— Что случилось? — спрашиваю.

Они не смотрят на меня.

— Настя! — я подхожу к уже знакомой девчонке.

— А вы что, не знаете? Анька залетела. Она больше не будет ходить. Все знают.

— Какая Анька? — не понимаю я.

— А вы что, её не помните? Она же весь месяц в школу ходила. Ещё вам про союзы рассказывала. А вчера узнала, что беременна. Больше не придёт — уехала к бабке в деревню.

— А! — Данил махнул рукой. — Вы её и не помните. Для вас все на одно лицо.

Данил не похож на остальных. Он всегда мрачный, ни на кого не смотрит, сидит один, уткнувшись в телефон. Он пытается хорошо учиться, но у него не получается, поэтому он злится. Иногда мне кажется, что он злится на весь мир. Про него я только знаю, что он, в отличие от многих, из обеспеченной полной семьи, но ему это только мешает, и он злится ещё больше, если кто-то напоминает ему о его родителях и его возможностях.

Я помню, как он буквально взорвался, когда я сказала, что ему можно не учиться, что любой платный колледж с радостью его возьмёт. Он тогда скинул учебник с парты и сказал, что больше ничего делать не будет.

— Выйди из класса! — сказала тогда я.

Это всегда была крайняя мера, на которую я шла, — выгонять никого из класса нельзя, но я выгоняю, когда становится совсем трудно с ними сладить.

— Я никуда не пойду. Вы должны меня учить, вот и учите.

— Тогда пиши.

— А это уже моё дело.

— Тогда я имею право поставить тебе “два”.

— Ставьте. Мне всё равно.

Но я знала, что как раз ему не всё равно. С такими намного тяжелее.

Сейчас я с трудом вспоминала девочку, которую спрашивала про союзы и которая сказала, что знает союз “и”, “но”, а больше не помнит.

— Я помню Аню, — соврала я. — Но это её дело. Не надо никого осуждать.

— А нам что, тоже так можно? — Настя почему-то спрашивала об этом меня.

— А вы хотите? — крикнули парни и опять засмеялись.

— Да заткнитесь вы уже, — сказал Андрей.

Все тут же замолчали. Он всегда говорил спокойно, но его они слушались. В классе теперь стояла тишина. Наверное, первый раз за всё время. Они задумались.

Пока они думали, я рассказала им про простые предложения и знаки препинания при сочинительных союзах. Они даже что-то писали, машинально механически записывая за мной с доски. Но думали явно о своём.

Я тоже думала. О том, как я сейчас завидую этой девочке. Этой Ане, которая скоро будет сидеть дома со своим ребёнком и больше не придёт в эту школу. Не знаю, кто из нас больше счастлив. Иногда мне кажется, что всё, что я делала здесь эту неделю, было лишено хоть какого-то смысла и радости. Наверное, поэтому молодые учителя так часто уходят после первой недели, месяца или года. В каждом деле должна быть или радость, или смысл. Здесь же не было ни того, ни другого. Работать здесь — всё равно, что работать на автомобильном заводе. Закручивать и закручивать свои гайки. Каждый день, всю жизнь. Сейчас, когда я механически пишу на доске, я с ужасом думаю о том, что останусь здесь навсегда и никогда никуда не уйду. Так может, эта Аня сделала правильно — сбегала отсюда, разорвав этот бесконечный бессмысленный и никому не нужный бег по кругу.

На перемене Ярослав приносит мне мел — целую охапку.

— Не обижайтесь, но я ненавижу девушек, — говорит он. А потом, подумав чуть, прибавляет: — Вы только исключение. Но вы не считаетесь, вы же учитель.

— А с кем встречалась эта Аня? — спрашиваю я и не верю, что говорю об этом со своим учеником.

— Не знаю. Она такая тихая была. Всё время молчала. По-моему, она любила Даню. Но это точно не он.

Я беру мел.

— Что у меня за работу? — спрашивает Ярослав и кивает на стопку листочков.

— А что ты написал?

— Я написал, чтобы вы не ставили “два”.

— Тогда не поставлю, — шучу я.

— Спасибо! — верит мне он.

Опять улыбается. Я не перестаю удивляться, как быстро меняется у них настроение, словно каждый новый час — это новый жизненный цикл. Может, так оно и есть.

После шестого урока, который свёлся в итоге к тому, что девочки обсуждали Аню, а мальчики играли в карты, остаётся одна девчонка. Она высокая, с длинными вьющимися светлыми волосами и серыми глазами. Я вопросительно смотрю на неё.

— Вы хорошо объясняете, — говорит она. Я чуть было не ухмыльнулась, совсем как Андрей, но вовремя одёрнула себя. — Можно, я останусь? Я не всё поняла.

О ней я ещё ничего не знаю. Я вдруг думаю — может, не зря всё? Интересно, способен ли один ученик, наученный мною, выполнить мой педагогический план?

— Знаете, — говорит она через пятнадцать минут, — я передумала. Не хочу ничего учить. Вы пойдёте домой? Можно проводить вас?

Я киваю, и мы выходим вместе из надоевшей нам за день школы.

— Как тебя зовут? — спрашиваю.

— Вика. Я пришла в этом году.

— Я тоже.

— Вам нравится здесь?

— Не очень. А тебе?

— И мне.

Вика рассказывает, что приехала из маленького города и уже жалеет об этом.

— Почему же ты осталась здесь? — спрашиваю я.

— Из-за отца. Ну, и из-за мамы. Вообще, не знаю. Наверное, не только. Понимаете, у нас там не особо-то разживёшься. Работы почти нет, зарплаты в среднем тысяч десять — и то, считай, повезло. Москва в сравнении с этим кажется золотой.

— Но здесь тоже сложно.

— Сложно. Но... Здесь всё равно есть выбор. Можно работать больше и больше. Можно на двух, на трёх работах. А там... Понимаете, когда есть только почта и магазины, особо не зарабатываешь.

Меня удивляет — она так серьёзно рассуждает, точно сама через всё это уже прошла, хотя не проработала, наверное, ни одного дня в своей маленькой жизни.

— Получается, ни там, ни здесь ты не счастлива? — спрашиваю.

— Я была счастлива в Майском. Это наша деревня. Моя бабушка там родилась. Она и сейчас там живёт. Она вообще нигде больше не жила, кроме Балашова и Майского, и была вполне довольна. Мы туда каждые выходные раньше ездили, кроме зимы. Знаете, туда ходит только один автобус два раза в день — утром и вечером. Он едет по такой разбитой дороге, что все в салоне подпрыгивают, и кажется, вот-вот вылетит в окно. Но зато, когда доедешь, такая красота! Лес и поле. Как на картинах, даже лучше. Там и школа есть. Я просила остаться, но никто не захотел. Они думают, что в сельской школе плохо научат, но это же не так?

— Нет. Мне кажется, там даже лучше.

— Но только до школы ездить надо было, а зимой автобус не пройдёт — дорогу обычно заваливает снегом. Так что не получилось там остаться. И там только девять классов, а потом всё равно надо ехать в Балашов или в Саратов. Хотите я вам напишу, как доехать до Майского? Вдруг летом некуда будет поехать?

Мы садимся вместе на качели во дворе её дома, она достаёт из рюкзака тетрадку, вырывает листок и зачем-то пишет мне адрес своей деревни и номер их одного-единственного автобуса. А потом даёт листок мне. Я убираю его в сумку.

— Хорошо, — говорю, — может, и приеду.

Под ногами лежит уже вялая листва, перемешанная с грязью и дождём, и всё говорит о том, что до следующего лета теперь далеко. Вика ловко спрыгивает с качелей. Ей уже пора домой. Я смотрю на часы — семь часов. На этот раз я провожаю её до подъезда.

— Я ещё приду? — спрашивает, как будто я собираюсь куда-то исчезать.

Киваю, она забегает в подъезд, и через минуту в комнате на втором этаже уже загорается свет.

4

Мама дома с самого утра. Отца нет. Он уехал, как только привёз Вику. Отоспался день, сделал несколько фотографий с дочерью у дома на свой телефон — и всё. Потом прислал СМС: “Матери скажешь, уехал под Самару. На обратном пути отзвонюсь”. Она стёрла, не дочитав.

Мама с утра злится на всё. Всё не так — и Вика чувствует себя виноватой. Она здесь всего неделю и ещё не привыкла. Мама, кажется, стала дальше от неё, чем раньше, Вике неловко оставаться с ней наедине — словно с чужим человеком. Они почти и не разговаривали эту неделю. Только нашли школу, сделали регистрацию. Всё. Иногда мама спрашивает, не писал ли отец? И тогда Вика врёт, что писал, что он на рейсе и скоро приедет. Она уже поняла, что лучше соврать, иначе они поссорятся. Впрочем, мама не верит и только делает вид, что верит, — и они всё равно ссорятся. Что бы Вика ни сделала, они ссорятся.

Мама моет посуду. Нож выскальзывает из мыльных рук, падает на пол. Вика поднимает его.

— А самой помыть нельзя? — Мама, не оборачиваясь, швыряет нож на стол. — Не звонил?

Вика молча идёт споласкивать нож в ванную. Скажет, звонил — не поверит. Скажет, не звонил — начнёт орать.

— Нет, — говорит Вика и включает воду.

— А обязательно воду перекрывать? — кричит мама сквозь шум. — У меня теперь холодная идёт.

Вика закрывает кран и садится на край ванны. Она живёт в одной маленькой комнате с родителями. Вот она — Москва. Вика часто ловит себя на мысли, что не так представляла себе город, когда ехала сюда с отцом. Она выходит на улицу и оборачивается на свои окна.

Ей принадлежат два окна. Одно — большое — на кухне. Оно выходит на главную дорогу. Другое — маленькое — в комнате. Оно выходит во двор, где почти ничего нет. Сейчас в окне темно, только горит синим монитор компьютера.

Улица, где живёт Вика, разделена дорогой на две части. Точно так же, как родной Балашов разделён на две части рекой. Одна сторона — чётная, и все дома там двухэтажные, в основном, старые обшарпанные коммуналки, комнаты в которых сдаются всем подряд. Между домами — детский сад и площадка с одними-единственными качелями. Между деревьями на верёвках развешено бельё. Соседи сторожат его по очереди. Выносят стульчики, сидят по двое, болтают о какой-нибудь чепухе или просто долго молчат, пока кто-нибудь не посмотрит на часы и не скажет, что пора меняться. Вику это удивило — кому захочется воровать чьё-то мокрое бельё? Даже в Балашове так не делают. Викин дом такой же маленький, в два этажа. На крышу можно было бы влезть по водосточной трубе — настолько невысоко.

Другая сторона — та, куда выходит кухонное окно. Там совсем другие дома. Высокие и красивые, с консьержками, которые никого не пускают, с грузовыми лифтами. На крышу не забраться по трубе. Вика никогда не видела таких домов. Наверное, именно о них говорил отец. У неё есть ключ от двери домофона в такой дом. Она нашла его случайно у магазина и теперь иногда заходит туда, чтобы подняться на последний этаж и выйти на балкон.

Наверху ещё жарче. Пахнет раскалённым бетоном, пылью, окурками. Но ей здесь нравится. Сверху можно увидеть весь район. Справа — её дом, окно, из которого она часто смотрит сюда. Сразу за ним — её новая школа. Серая, с решётками на окнах. Рядом со школой — церковь.

В своём городе Вика часто забиралась на крыши. Не на такие высокие, конечно. Любила сидеть там до заката, пока не начнут разыскивать — и Вика не станет представлять, как бабушка садится в комнате под лампу, надевает большие очки, достаёт записную книжку и набирает её номер. Ошибается, не попадает в нужные кнопки, но всё равно набирает. Снова и снова. И, наконец, звонит. Тогда Вика бежит вниз по лестнице, задерживая дыхание, чтобы быстрее, но всё равно опаздывает. Бабушка долго отчитывает её, грея ужин.

Сейчас Вику вряд ли кто-то будет отчитывать. Мама кинет СМС: “Быстро домой”. Но всё равно не заметит, во сколько та пришла.

От высоты и солнца кружится голова. Чтобы не упасть, Вика садится прямо на грязный пол.

Дойти до школы — это перебежать через дорогу.

Первого сентября шёл страшный ливень, а Вика надела новые чёрные туфли и мамины капроновые колготки. На них тут же появились пятна от дождя. Она садится на скамейку на первом этаже, снимает туфли, отряхивает их, размазывает грязь по колготкам и думает о том, как же можно в таком виде появиться в классе, где наверняка все очень красивые.

— Ты же в восьмом “А”? Пойдём! — говорит ей девчонка. На вид лет восемнадцать, и только по серьёзному её виду Вика понимает, что это — учитель. Её учитель.

В классе никто никого не слушает, все галдят, смеются. Вика сидит у окна и смотрит на нового учителя. Учитель как учитель. Ничего особенного. Но Вика смотрит, не отрываясь. Она кажется другой — не такой, как все остальные в этой школе. Точно она из другого города или даже страны. Невысокая, худая, с короткими светлыми волосами, в джинсах, рубашке и пиджаке. Меньше всего она похожа на учителя, скорее на мальчика, который вышел отвечать к доске.

Звонок. Все выходят. Выбегают. Толкают друг друга у выхода. Теперь это её новый класс и её новые друзья.

Вика включает музыку на ноутбуке. Делает тише, потому что мама ещё не ушла. В квартире тихо — значит, она сидит на кухне, пьёт чай из своей большой кружки. Она всегда завтракает и собирается утром в полной тишине. Шорохи в коридоре — надевает плащ. Обувается. Положила щёточку для обуви на полку. Звенят ключи. Она никогда не забывает ключей. хлопает дверью.

Вика включает свет и встаёт. У неё в комнате зеркало во весь шкаф. Она смотрит в него. В папиной большой футболке она выглядит совсем маленькой. Снимает её. Вика очень изменилась за год. Всматривается в своё лицо. Серые большие глаза. Нос с горбинкой. Проводит пальцами по своему отражению. Ещё детские щёки, но так быстро всё меняется. Она кладёт руку с растопыренными пальцами на зеркало, словно на ровную гладь реки. Холодно. Хочется разрушить его, чтобы пошли волны, как от резкого ветра. Уже теплее — стекло нагревается. Убирает руку. Всё те же серые глаза и тот же нос. Ей кажется, что однажды она проснётся и не узнает себя. Всё изменится. Станет совершенно другим. Её лицо, тело. Всё это страшно, непонятно. Одевается.

На кухне никого. Чашка помыта и убрана. Мама никогда не оставляет грязных чашек. У себя в городе Вика определяла, дома ли бабушка, по невымытой чашке. Она пила всегда из одной и той же и оставляла её на столе. Мыла только, если уходила куда-то надолго. Если чашка стояла невымытая — значит, бабушка дома и никуда не уйдёт. Вике от этого всегда становилось спокойно.

Во дворе много листьев. Их не успевают убирать — они падают снова. Жёлтые, зелёные, разные. Если выйти рано утром, можно ходить по ним босиком, пока они ещё влажные. Как в деревне, когда приезжаешь туда в начале осени. Бабушка тогда обычно закатывала банки со всякими вкусностями, которые не разрешала трогать до зимы. А Вика не понимала, почему всё это нельзя трогать до зимы, когда очень хочется.

Этот город можно обойти быстрее, чем Балашов. Пятнадцать минут на маршрутке до метро. Двадцать — пешком до парка. Двадцать пять — до стадиона. Пять минут бегом до церкви, в которой Вика ещё не была. Семь — до школы. Всё.

Вика идёт до школы. Доходит до светофора, нажимает кнопку, чтобы загорелся зелёный. Ждёт. Вдруг слышит рядом:

— Что-то тебя давно не видно.

Оборачивается и видит ту учительницу, их классную, и вспоминает, что не была в школе неделю.

— Я болела, — врёт Вика.

Зелёный. Они вместе переходят дорогу, но идут не к школе, а в противоположную от неё сторону. Идут рядом, почти касаясь друг друга руками.

У классной чёрное длинное пальто, слишком тёплое для осени, и коричневая сумка через плечо.

— Я соврала, — говорит Вика, — я не болела.

— Ты не хочешь ходить в эту школу?

— Не хочу. Там все орут и никого не слушают.

— А чего бы тебе хотелось?

— Иногда хочется просто помолчать.

— И мне.

— Знаете, мне не нужно сейчас домой. Давайте пройдемся.

Прошли школу и Викин дом, дошли до метро. А дальше идти некуда. Дальше — уже Москва.

5

Первая и вторая четверть здесь закончилась провалом. Я смогла только выяснить, как зовут моих учеников, но всё равно не запомнила, спросить, какие книги они прочитали за лето, но не получить ответа и с ужасом выставить им оценки — почти все тройки, несколько двоек. Это всё. Уроки сменяли друг друга, ученики сменяли друг друга, и мне казалось, что и я стала другой за эти несколько месяцев.

В 8 “А”, про который все говорили “неуправляемый”, “неадекватный”, “сложный”, “ненормальный” и “коррекционный”, учились шесть девочек и четырнадцать мальчиков. Как я уже поняла, в этом классе было три тихони, один явный лидер, один негласный лидер, один забитый и всеми унижаемый, несколько тех, кто жил своей жизнью отдельно от класса, и несколько тех, кого невозможно было успокоить и просто усадить на место. Но все они абсолютно разные, у всех своё мнение, и к каждому из них, как я поняла, нужен особенный подход, на который у меня нет никаких сил. Сейчас я с ужасом думаю о том, что мне придётся в следующей четверти опять прийти сюда и пытаться вести у них уроки. Третья четверть — третья попытка.

Больше всего на свете мне хотелось просто развернуться и уйти. Но вместо этого я решила организовать родительское собрание.

В семь часов в школе уже никого нет, кроме охранника, который не уходит домой, а спит тут же — в маленькой подсобке на первом этаже. В коридорах тишина, какой никогда не бывает днём. Первую неделю здесь я думала, что не смогу привыкнуть к этому постоянному шуму, что сойду с ума. Я читала, что в американских тюрьмах применяли такую пытку — заставляли человека слушать сразу много очень громких звуков. Я чувствовала себя заключённым в такой тюрьме. Все вокруг орут — и на переменах, и на уроках. Мне казалось, что дети вообще не умеют говорить тихо, что они только орут или визжат. С самого утра и до обеда, пока не закончится последний урок, меня преследовал этот шум.

Но сейчас, вечером, тихо и спокойно. Работа уже не кажется такой жуткой.

Родители не заходят по одному. Они стоят внизу, пока не соберутся группой, и только потом поднимаются ко мне в кабинет. Мне интересно — почему? Бояться? Одна из них — полная, невысокая, с отёкшими толстыми ногами в огромных, точно мужских, растоптанных ботинках, украдкой заглядывает ко мне.

— Можно?

Я сижу на своём месте, за столом, заваленным листочками, обрывками бумажек, учебниками, тетрадами. Киваю ей, и они все заходят.

Садятся, как и их дети, подальше от меня — на третьи и четвёртые парты. Только, в отличие от них, садятся молча и смотрят на доску. Я открываю журнал, достаю тетради, точно хочу спрятаться за всё это.

— Ну, — начинаю не я, а та, полная, которая зашла первая, — мы готовы. Слушаем вас.

Я встаю и чувствую себя на допросе. Это они меня спрашивают, а не я их, хотя это я учу их детей, точнее пытаюсь это делать.

— Я здесь недавно, — хочу сказать я, — но уже увидела многое. Во-первых, не все из ваших детей ходят в школу каждый день. Во-вторых, если и приходят, они ничего не пишут и не делают. У них нет дневников, тетрадей и ручек. Я всё время даю им листочки, из которых они в конце урока делают самолётики. Они не обращают внимания на звонки, приходят и уходят, когда хотят. Их волнуют только талоны на обед, которые я им даю. Иногда мне кажется, что они приходят сюда только из-за этих талонов. Они постоянно дерутся и курят в туалете. Когда они приходят в класс, запах не выветривается весь урок. Они совершенно меня не слушают, и, что бы я ни говорила, они делают то, что хотят. Они не выучили ещё ни одной темы и вряд ли знают, что мы проходим. Я не знаю, каким чудом они получают оценки, но пока я не могу даже сделать переключку, чтобы не начать кого-то успокаивать, выгонять из класса или пытаться с боем забрать дневник, которого всё равно в итоге не оказывается в их сумке. Я не знаю, что я могу сделать, чтобы просто выполнить свою работу.

Но я смотрю на этих родителей и ничего не говорю. Они всё это слышали много раз от тех двух, которые были до меня. На меня смотрят мои же ученики, только старше.

Вот — мама, у которой, кроме её дочки из моего класса, ещё четверо. А муж их бросил и живёт рядом с другой женщиной. Они видятся в магазине каждый день.

Вот — папа, который недавно освободился из колонии, где отсидел семь лет. Летом он красил здесь классы, и только поэтому его сына оставили учиться.

Дальше — мама Настя. Она уже два раза была замужем, но оба раза неудачно, она ярко накрашена, но это её только портит.

А за ней мама Ярослава. Они с сыном живут в общежитии, в одной комнате, отгородившись друг от друга тонкой фанерой, и всё время ругаются.

Мама Данила — молодая, такая же мрачная женщина, смотрит, как и её сын, исподлобья, не верит, что я могу чему-то научить их всех. Я и сама не верю.

— Мы знаем, у нас сложный класс, — говорят опять родители, а не я. — Нам бы только дотянуть до девятого. У нас и так уже столько учителей поменялось.

Я сижу со своим журналом, даже его не открыв. Их родители старше меня в два раза. Многие многодетные, и их другие дети тоже скоро пойдут в эту школу. У многих нет высшего образования, у некоторых нет даже среднего специального. У них усталые помятые прокуренные лица. Они смотрят на меня так, словно именно от меня сейчас зависит, окончат их дети школу или нет.

— Но надо же что-то делать, — говорю я.

— Вы же учитель. Уж доучите. Без вас мы как?

Мы выходим вместе. Я киваю охраннику, и он закрывает за нами. На крыльце школы закуриваем.

— Знаете, — говорят мне, — если вы не уйдёте, они к вам потянутся. Надо просто время.

— Но времени как раз нет, — говорю я, — ни у меня, ни у них. Им через год сдавать экзамены, а они не знают, что такое предложение. Если так дальше пойдёт, и не узнают.

Я вспоминаю свои плакаты, на которых кто-то уже зачеркнул “здравствуй, школа” и написал — “ненавижу тебя, школа”. Плакат висел долго, пока кто-то из учителей не зашёл и не заметил.

Не сплю всю ночь. Лазаю по педагогическим форумам. Советуют одно и то же — детей надо удивить, привлечь внимание, сделать что-то неожиданное.

Нашла целую памятку учителю:

1. Подходи к детям с оптимизмом.
2. Вспоминай себя в детстве.
3. Будь с ними честным.

4. Никогда не кричи на них.
5. Не сердись.
6. Будь вежлив.
7. Не приказывай.
8. Оберегай их от дурного.
9. Будь с ними вместе.

Ничего из этой памятки я не соблюдаю. Вообще, почти все, с кем сталкиваюсь в школьных коридорах, удивляются — зачем я пришла.

— Шла бы в журнал, — говорят.

Помню, сразу после института устраивалась в одно медицинское издательство выпускающим редактором. На собеседовании спрашивали — насколько грамотно пишу, внимательная ли, могу ли запоминать большой объём информации, знаю ли корректорские знаки. И так далее. Дали текст, который надо было отредактировать. Отредактировала. Всё им понравилось.

— А чем конкретно я буду заниматься? — спросила я.

— В основном — читать материалы, подготовленные к изданию.

— Но я же не медик. Я в этом ничего не понимаю.

— И не надо. Просто вычитывай текст.

На второе собеседование я не пошла. Как-то неинтересно. А сейчас думаю: а здесь интересно?

Сегодня я дежурная по коридору. В должностной инструкции, которую мы все подписали в сентябре, написано — “обязанность каждого дежурного учителя обеспечить тишину и порядок на переменах”. На деле же дежурство означает бесконечные замечания, крики на кого-то, ругань, ссоры и плохое настроение на всю перемену. В дополнение к этому нужно каждые пять минут заходить в туалет для девочек, который расположен на моём этаже, и смотреть, чтобы никто не курил. Так что выполнить свою обязанность просто невозможно.

Перемена — это то время, когда меньше всего хочется видеть и слышать детей. Но это как раз то время, когда дети, освободившиеся от тисков урока, вырываются на свободу, разбегаются по этажам, выясняют отношения, ищут возможности сбежать из школы, выкурить сигарету, стащить обед в столовой и придумать что-нибудь, чтобы не пойти на следующий урок. То время, когда они ходят за мной, и, в отличие от урока, здесь я им нужна.

— У меня болит живо-о-от, — девочка из моего класса ходит за мной всю перемену и ноет.

— У тебя он болел вчера, — говорю я и отворачиваюсь от неё.

Нам дано распоряжение: “Отпускать детей только в строгой необходимости и не более чем одного в день. А в сложных классах — не более чем одного через день”.

У меня как раз сложный класс.

— Я же не виновата, что он опять болит. Вчера — это вчера. — Она продолжает идти за мной.

— Но я же не могу отпускать тебя каждый день.

— Почему? Вы же учитель!

В её представлении я — учитель, а значит, могу всё. И самое главное — могу выпустить её из ненавистной школы.

— Ну-у, последний раз, — ноет и ноет она, — ну, пожа-а-алуйста... Я буду ходить за вами каждую перемену.

— Хорошо, давай листок и ручку.

Как ни странно, листок и ручка тут же находятся, хотя на уроке ни того, ни другого никогда нет. Я пишу корявым почерком, положив листок на подоконник: “Прошу отпустить...”

— Напомни свою фамилию.

— Студенцова.

“...Студенцову Серафиму с третьего урока по состоянию здоровья”.

Пишу число и подписываюсь. Отдаю ей. Она, счастливая, тут же убежит. Серафиму все называют просто “Симка”. Она из многодетной семьи. У неё два старших брата и три младшие сестры. Самая маленькая сестра — в детском саду, и Серафима водит её в сад, а чаще всего сидит с ней дома.

Отца у Серафимы нет, точнее — есть, но он живёт отдельно, а все дети в семье воспитываются мамой и растут сами по себе, как и Серафима, которая в школу ходит редко, а если и приходит, то на несколько уроков, а потом начинает искать возможности сбежать. То ко мне идёт, то к охраннику, то просто вылезает в окно первого этажа.

У Серафимы короткие, почти белые волосы, она очень маленькая, тоненькая, точно прозрачная и, кажется, переломится от одного только неловкого движения. Но она очень сильная и готова влезть в драку с любыми девочками и даже с парнями, если нужно. Особенно она ненавидит Руслана — тоже из моего класса. Он ходит в школу редко, как и Серафима, но если они приходят оба — драка будет точно.

Один раз они вскочили прямо на уроке. Она на него — с учебником, он — со стулом. Только Андрей, который вскочил следом, успокоил их. Тогда я первый раз была ему благодарна.

— В чём дело? — спросила я.

— Ни в чём, — Симка села на место и надулась.

— Скажи, — я подошла к ней.

— Вам какая разница? — Она не любила всех учителей и почему-то особенно — меня.

— Скажи! — я стояла над ней, возвышаясь, как судья.

Вмешалась Настя.

— Рустик сказал, что она гуляет со всеми парнями.

— Почему он так сказал? — спросила я.

— Настюх, молчи! — Симка замахнулась на неё.

После уроков Сима сама подошла ко мне и сказала:

— Мне Рустик встречаться предложил, а я не хочу.

— Если не хочешь — не надо, — ответила я.

— Но он теперь будет меня гнобить. Если ему девушка отказывает, он её потом ненавидит.

— Но это не повод с ним встречаться.

— Вы думаете?

— Конечно. Он тебе нравится?

— Нет.

— Тогда, конечно, не надо.

Она стояла около меня и не уходила.

— А у вас так было? Чтобы кто-то вам предлагал, а вы не хотели?

— Ну, конечно.

— И что тогда?

— Нужно делать то, что ты хочешь, — сказала я, но как-то неуверенно.

Этот Руслан — Рустик — в школе почти не появлялся. Его мама раньше работала здесь секретарём, но она тоже ходила на работу редко, и её уволили. Говорят, что она сильно пьёт. На собраниях я её ни разу не видела, и на звонки она не отвечает. Больше никого у Руслана нет, поэтому он ходит, когда хочет, и делает, что хочет. Но он никогда не унывает, всегда весёлый, жизнерадостный. Иногда я ему даже завидую.

Я вообще начинаю завидовать своим ученикам. Часто мне хочется оказаться на их месте — не быть никому должной, делать только то, что хочется. Но потом я думаю о том, что они сами не знают, чего им хочется, и не знают, что им делать, и потому так себя ведут.

Обычно мы дежури́м по двое. Моя коллега, та самая Галина Ивановна, тоже учитель русского языка и литературы, работает в другом конце коридора. Ей лет семьдесят, у неё короткие крашенные в пшеничный цвет волосы, мелкие завитушки, тонкие и ломкие, которые иногда встают в разные стороны, и тогда она похожа на взъерошенную испуганную огромную птицу. Я слышала, что она очень строгая, и дети называют её “Галина Гитлеровна” или “Сатана Ивановна”. Интересно, как называют меня?

Она всё про всех знает. Если случайно столкнуться с ней в коридоре, то она обязательно заболтает и начнёт рассказывать — про детей, учителей, родителей.

— Доработай год и уходи отсюда, — говорит она, — бросай ты этот класс, как я бросила. Там нормальных детей вообще нет.

Я ничего не отвечаю на это, только киваю.

— Это такая помойка, — продолжает она. — Здесь как был рабочий район, так он им и остался. Откуда здесь взяться нормальным детям? Я в том году одну четверть работала в твоём восьмом “А”. Это же ужас, а не класс. Тебе очень не повезло, что на тебя его повесили. Но никто бы больше не согласился. А ты молодая, ты будешь молчать, на тебя можно и повесить.

На это я тоже молчу. Я и так уже поняла, что на меня сбросили то, что никто не хотел брать. И мой 8 “А” оказался никому здесь не нужным, лишним.

Мама сегодня забрала остатки своих вещей. Ящики открыты, шкафы настежь, как после погрома. Стою посреди маленькой квартиры, смотрю вокруг. Пусто. Но ведь сама этого хотела.

На столе на кухне записка: “Пирог хороший. Вчера готовила. Ешь. Вещи забрала все. Звони. Мама”. Открываю холодильник — пирог на месте. С сыром. Из слоёного теста. Мама сама делает. Отрезаю прямо холодный. Думаю, что она обязательно бы сказала: “Погрей”. Варю кофе. Молока нет. Пью так.

6

Отец приехал рано утром, перебудив всех. Он привык, как и раньше, ещё когда жили дома, приходя утром с суток, заходить громко и шумно. Вика помнит, как он всегда заваливался к ней в комнату не стуча, стаскивал одеяло и тащил в ванную — умыться. А она была маленькая, не умела отбиваться, плакала и обижалась. Теперь бы он так не сделал.

Он заходит, хлопает дверью.

— Поесть-то найдёшь? — говорит маме.

— Пусть тебя бабы твои кормят, — отвечает она, но встаёт и идёт на кухню.

Вика лежит, накрывшись одеялом, хотя давно не спит. Отец ходит по комнате, открывает шкаф, видимо, переодевается.

— Ничего не найдёшь, — бормочет он.

— Она туда сложила, — говорит Вика, садится на кровать и показывает на кресло в углу, — твои вещи все там.

Отец находит свою футболку в груде вещей. На кухне уже душно и жарко. Мама разогревает вчерашнюю жареную картошку и курицу. Пахнет несвежим маслом.

В Балашове на выходные Вика с отцом обычно ездили в Майское. Особенно поздней осенью — перед долгой деревенской зимой. Он сажал её в грузовик рядом с собой, и они ехали несколько часов по неровной, вдрызг разбитой дороге. На каждой кочке машину подкидывало вверх, отец держал руль уверенно, сжимая его изо всех сил, крутил то влево, то вправо — смотря по тому, куда кидает машину. И всегда говорил:

— Это ничего. Это разве кочка? Вот это кочка!

Грузовик подбрасывало ещё больше. Вика смеялась тогда очень громко, хотя было страшно, но она знала — рядом отец, и что бы ни случилось, всё будет хорошо. Когда они проезжали мимо убранных полей, отец открывал окна, и Вика чувствовала ещё тёплый ветер и степной запах. Ей нравилось это время — нет следа летней жары, но всё ещё живёт и дышит так, как могут дышать скошенные травы. А потом отец останавливался где-нибудь на дороге, и они садились на колючую холодную землю.

— Смотри, это к зиме, — говорил он, подбирая непонятно откуда взявшийся, слегка подмороженный хрустящий лист. Вика брала его в руки, и он рассыпался.

— Поможешь мне с машиной?

Он наливает полное ведро горячей воды и моет свою огромную фуру прямо во дворе. Вика в одной футболке и джинсах, как и он. Без куртки, хотя уже очень холодно.

— Может, прокатимся? — спрашивает он.

Вика забирается в машину, садится рядом с ним, смотрит в окно. Кругом асфальт, асфальт, и пахнет мутно и сыро.

— Мы не сможем поехать домой на каникулы? — спрашивает Вика.

— В этот раз не выйдет. Я только с рейса. Да и денег лишних нет. Может, весной.

— Ты уже не уедешь?

— Пока нет. Хочешь чего-нибудь?

— Не знаю. А что тут есть?

Он отвозит Вику к палатке с быстрой едой, покупает горячую кукурузу, приносит в машину. Посыпает солью, протягивает.

— Почти как в деревне, — говорит, — помнишь?

Вика помнит.

— Не привыкла ещё здесь?

— Что-то не очень.

— Слушай, я всё понимаю. Но мы не вернёмся назад. Ты будешь жить здесь. И учиться, и работать.

— А где ты недавно был? Покажи на карте.

Отец достаёт большую карту из бардачка, раскладывает на коленях, пачкает её липкими от кукурузы руками и показывает города, в которых был.

— Здесь и здесь. И здесь тоже.

— Так много! — удивляется Вика.

— Так два месяца же. Здесь тоже был.

— А в следующий раз куда?

— Куда пошлют.

— А с тобой можно?

— А школа?

— Да наплевать.

— Я тебе дам — наплевать. Купим домой? — Он показывает на пустой пакет из-под кукурузы.

На Новый год должны были поехать домой. Всё уже было подготовлено. Вика собралась и ждала. Отец приехал двадцать девятого декабря. Это был последний учебный день. Ждали маму. Если выехать ночью, как хотели, то тридцатого уже там. Но мама пришла пьяная. Вика слышала из коридора.

— Где ты так? — отец.

— Отвали, — мама.

Она прошла на кухню, прямо в сапогах. Развела грязищу.

— Нам же ехать, — отец прошёл за ней.

— Никуда я не поеду.

— Собирайся, — отец крикнул Вике, — одни поедем.

— Она тоже нигде не поедет. По бабам своим таскать её будешь?

— Собирайся.

— Я сказала, она нигде не поедет. А ты чего стоишь? Налей чего-нибудь. Чай налей.

Вика стоит в коридоре, прижавшись к стене. Её отец, крупный, загораживает проход в кухню, но ей видно мамино некрасивое лицо с размазанной яркой косметикой. Мама хочет пройти, но отец не пускает её.

— Пусти...

Он толкнул маму, и та упала обратно на стул.

— А ты чего стоишь и смотришь? — мама кричит Вике. — Зачем я тебя только рожала? На его стороне всегда. Своего папочки любимого.

Отец с размаху ударил её по щеке. Она упала головой на стол, зарыдала. Потом вскочила, бросилась на него.

Вика бежит в коридор. Одевается.

— Куда собралась? — Отец за ней. — Иди спать.

— Руки убери от меня.

Дрожа, пытается найти своё пальто. Отец отнимает, не даёт надеть его. Пальто рвётся.

Отец пытается затащить Вику в комнату, но она вырывается.

— Куда ты пойдёшь? — отец загораживает дверь.

— Отойди.

Стоит у двери.

— Отойди. Или ударишь меня, как её?

Он забирает ключи.

— Остынь.

— Отойди, я сказала.

Отходит.

— Дай ключи.

— Куда ты пойдёшь?

— Дай мне ключи.

Отдаёт.

— Замёрзнешь — вернёшься, — кричит он вслед.

7

Я наконец-то иду в комнату отца. Прошло больше года, а я всё не решилась. После его смерти я была там всего один раз. Отключила холодильник, помыла посуду, забрала продукты, закрыла дверь. Всё остальное оставила как есть. Вещи, диван, бельё, на котором он спал, — ничего не взяла. Год всё так и лежит. Понимаю, что, наверное, неправильно. Но не могла так сразу.

Дверь в квартиру открыта настежь. Замка нет. В коридоре темень. Пытаюсь включить свет — нет даже выключателя. Вместо него — торчат во все стороны провода. Тихо. Где все — непонятно. Праздники — должны быть дома. Сидят, наверное, по своим комнатам. Боятся выходить или спят — кто их знает. Подсвечивая себе телефоном, открываю дверь и захожу в комнату. Включаю свет.

Диван всё ещё не сложен, но постельного белья нет. Складываю диван. Открываю шкаф — там аккуратно развешаны поглаженные, чистые рубашки. Отец всегда любил порядок. Снимаю их, кладу вместе с вешалками в одну кучу на диван.

Открываю другой шкаф — с бельём. Под носками нахожу несколько книг с молитвами. Достаяю всё вместе — и тоже на диван. На верхней полке всякая мелочь вроде бритвы и прочего. И огромной стопкой — четыре тома Толстого. Пролистываю. Страницы жёлтые, старые, обложек нет — на титульном листе от руки написано “Л. Толстой. I том”. Откуда они у отца — не знаю. На первой странице внутри книги подпись — “Евгению от верной подруги Нины”. И год — 1973. Ему было двадцать три года.

Смотрю вокруг. Пусто как-то. Вроде ничего и не изменилось. Около дивана — тяжёлый, на железных ножках журнальный стол. Балкон открыт. Холодно. Рядом с балконом справа — полочки, отец их сам делал. На них лекарства — но-шпа, анальгин, какие-то ампулы. На “скорой”, наверное, кололи. Так и лежат. Никто их не выкинул.

Обоев нет. На голых стенах — какие-то телефоны. Написаны крупно — отец плохо видел. Нахожу свой телефон. Над ним надпись: “Дочь, мобильный”. Отец всегда записывал всё важное на стенах. На старой квартире, где жили вместе, все стены были исписаны номерами. В основном, рабочие: “Коля-балкон, Света-ванна, Дима-подрядчик...” И так далее. Отец делал ремонты, так что можно сказать — это клиентская база. Последние годы отец просил разместить его объявления в интернете. Я ему объясняла, что таких объявлений море, но он не понимал.

— Ты мне не хочешь помочь, а это деньги, — говорил он.

Мечтал открыть свой бизнес, работать на себя. Не любил, когда кто-то указывал ему, что делать. Совсем как мои ученики.

Он мне рассказывал, как однажды делал дачу какому-то бизнесмену. Делал евроремонт и брал тоже евро. Бизнесмен хорошо заплатил, но сказал, что если через месяц плитка отвалится, он его найдёт и зароет на своей же собственной даче. Но плитка не отвалилась. Ни через месяц, ни через год.

— И этот жлоб мне такое говорит! — ругался отец. — Если я делаю — то делаю. А захочу — сожгу его вместе с его дачей.

Он много чего рассказывал.

Я понимала. Я его всегда понимала.

Слева должен быть телевизор. Но его нет. И полочки под телевизор тоже нет.

Звоню маме.

— Я у отца, — говорю о нём, как о живом. По привычке. — Тут телевизора нет. Не брала? А кто? Соседи? Спрошу. Да.

Обещаю перезвонить.

Да чёрт с ним, с телевизором. Выхожу на балкон. Бутылок нет. Значит, убрали или соседи взяли — сдать. Хотя, не знаю, сдают ли сейчас. С балкона видна моя школа — одного цвета с серым небом. Можно увидеть главный вход. Где-то там моё окно.

Вспоминается, как ходила сюда, когда отец был ещё жив. Он тогда пытался бросить пить, но срывался. Звонил мне и просил денег. А я шла сюда. Так было много-много раз. Он выходил на работу на полгода. Потом — опять звонок, и всё сначала.

Вспоминаю, что в тумбочке, которая пропала, лежала труба. Отец выиграл её в детском лагере. Умел ли играть — я не знаю. Но трубу жалко. Не знаю, почему именно её. Просто стало жалко. Не телевизор, который покупали вместе двенадцать лет назад на Горбушке. А именно трубу.

Стучусь к соседям. Молчат. Знаю, что дома.

— Да откройте, — говорю.

Открыли. Пьяный парень — сын хозяйки.

— Трубу отдайте, — говорю.

— Какую трубу?

— Трубу. В тумбочке была. Барахло себе оставьте.

— Мам, тут...

Выходит. Суетится. Испугалась, что заявление в полицию напишу.

— Да мы взяли просто, чтоб не пропало. Дверь открыта была. Отдай, сынок.

Сынок ушёл, вернулся, выкатывая тумбочку на колёсах. На ней телевизор. Сам закатил в комнату. Поставил на место.

— Вы как — жить будете? Или продавать? Отец вроде продавать хотел.

— Не знаю.

Открываю тумбочку. Труба там. Так это нелепо. Я посреди всего этого. Этой пьяной женщины, её пьяного сына — мальчика двадцати лет. Сажусь на диван с этой несчастной трубой. Засовываю её в дорожную сумку, которую принесла с собой. Не беру больше никаких вещей.

— Он нам и газ провёл сам, и свет, — тараторит соседка, — и замок сколько раз чинил, и вообще, по мелочи. Такие руки были — всё мог сделать.

Это она об отце.

— Знаю, — говорю я. — Присмотрите за комнатой.

* * *

Третья четверть очень долгая — почти три месяца — и замкнутое пространство постепенно начинает давить. В школе как будто не хватает воздуха, и каждый урок становится пыткой для всех. После двух четвертей, которые для моего восьмого класса окончились двойками и редкими тройками, дети немного притихли. Многие стали понимать, что так они школу не окончат вообще, многие удивились, что я ещё не ушла и не собираюсь, и все знали, что оценки как-то получать надо.

В этот момент я решила переломить ситуацию.

— Сядьте по двое и ближе ко мне, — я это говорю каждый раз.

Никто не слушает.

— Тогда сяду я.

Я разворачиваю парту и сажусь ближе к ним. Парта тяжёлая, и я двигаю её с шумом. Переглядываются. Толкают друг друга. Решили, что я сошла с ума. Может быть, так оно и есть.

— Вам помочь? — сразу весело бросается мне на помощь Ярослав.

Но Андрей его одёргивает и силой сажает на место.

— Сиди! — говорит он ему.

Притихли. Смотрят — что будет дальше.

— Теперь мы будем учиться так, — говорю я, — Ярослав, раздай тетради.

Я сама купила им тетради. Они стопкой лежат у меня на столе. Ярослав опять радостно вскочил, точно собачка, которую вот-вот возьмут на прогулку. Но Андрей опять одёрнул его и посадил на место.

— Мы не хотим, — сказал Андрей.

Андрей всегда говорит тихо — он никогда не кричит, но когда он говорит, его слушают и выполняют всё, что он скажет беспрекословно. Мне бы так.

Смотрю на них, на всех. Красивые, молодые, наглые. Четырнадцать лет. Как-то мельком вспоминаю себя. Восьмой класс. Новый учитель русского. Сочинение — “Мой кумир”. Писала про Виктора Цоя. Потом вспоминаю свой курс в институте, свой семинар. Как сидели вповалку, где придётся, потому что места в маленькой аудитории не хватало, а нас было человек сорок. Молодые, красивые, наглые. Каждый хочет что-то изменить, что-то взорвать, что-то написать. А мы ведь с этими детьми, и правда, не так уж далеко стоим друг от друга.

— Мы всё равно ничего не будем делать, давайте просто договоримся. — Теперь говорит Андрей, а не я. — Мы тихо сидим остаток года, не мешаем вам. Я за всем прослежу. А вы ставите нам оценки. В девятом классе вы от нас откажетесь, если захотите. Нас всех это устроит.

Деловой какой! Наверное, далеко пойдёт.

Вдруг мне становится смешно. Они диктуют мне условия. Они не хотят, чтобы я выполняла свою работу. Я буду приходить сюда, сидеть, получать свои пятнадцать тысяч рублей в месяц и уходить домой. Неужели всё это стоит того, чтобы учиться, работать, жить в тесной квартире? А может, они правы? Нужно делать именно так — не напрягаться, не ругаться, а просто жить, не обращая ни на кого внимания.

Но мне смешно. Смеюсь долго, захлёб, как давно не смеялась. Они совсем притихли, точно животные, когда от страха те прижимают уши и поджимают хвосты. Наверное, и правда, думают, что я не в себе. А может, я и не в себе? У них своих проблем полно. А тут я откуда-то взялась, что-то от них требую. А им не до меня. Им просто не до меня. А мне не до них. Вот и всё, что нас связывает.

— Вы все так думаете? — говорю.

— Все. — Андрей.

— Хорошо. — Я встаю, открываю дверь. — Тогда идите. Мне больше нечего вам дать. А вам — мне. Вы правильно сказали в сентябре — мы друг другу никто, а значит, нечего и стараться. Всё, вы свободны. И я тоже.

Молчат. Сидят. Не ожидали.

— А если уйдём? — Андрей.

— Больше сюда не зайдёте никогда.

Я жду. Не знаю, что я буду делать, если они все уйдут. Но они сидят. Как и мы сидели, когда мастер в институте сказал: “Если вы думаете, что я позволю вам писать здесь плохо, уходите”.

Первым встаёт Ярослав. Андрей на этот раз не удерживает его. Я слежу за ним глазами. Но он идёт не к выходу, а к моему столу, берёт стопку тетрадей и раздаёт. Все остальные молча смотрят на него. За ним встаёт Андрей. Он проходит мимо Ярослава, толкает его в бок, идёт мимо моего стола, сбрасывает учебники, они с грохотом падают на пол, и уходит.

Я захлопываю дверь так, что слетает плакат со сложными предложениями.

Андрей действительно перестал приходить на уроки. Поначалу я думала, что он испугается, придёт, как ни в чём не бывало, а мы сделаем вид, что

ничего этого не было. Но он так и не пришёл. Он ходил в школу на другие уроки, но только не ко мне. Но без него стало как-то тише и спокойнее.

— Расскажи мне об Андрее. Что он из себя представляет? — спросила я у Насти, когда она с девочками дежурила у меня в кабинете.

— Ну, он вообще какой-то странный, — ответила Настя, — я знаю, что он живёт с бабкой. Мама у него уехала за границу уже давно. Она там вроде замуж вышла. Она очень редко приезжала и его никогда не забирала с собой.

— Он в начале очень умный был, — добавляет подруга Насти, чёрненькая Нинка, вся в рыжих, точно нарисованных, веснушках, — стихи хорошо читал. Ездил даже на конкурс в Москву куда-то. Но потом изменился.

— Если бы не он, то у нас бы все лучше учились. Он всегда всех подговаривает доводить учителей. Ему, если какой-то учитель не нравится, то он будет мешать. А если нравится, то может сидеть тихо. Такой он.

— А я ему, значит, не нравилось? — спросила я.

— Вы... Ну... Как бы сказать... — девочки замялись. Видно, что они уже обсуждали это между собой. Но сейчас стеснялись сказать.

— Ну, говорите уже! — Я улыбаюсь и показываю, что не разозлюсь и не расстроюсь.

— Вы как будто не из нашего города. Вы книжки читаете, пишете грамотно, говорите красиво. Никогда нас не оскорбляете. Вы не для нас. Нам другой учитель нужен. Вы всех только бесите, потому что никто из нас не будет таким, как вы. Это знаете, как раздражает.

— Но я же такая же, как Галина Ивановна или другие учителя.

— Нет. Вы не такая. Галинка нас всегда называла “чурбаны” и “бестолочи”, говорила, что из нас сочтется невежество. И мы её понимали. А что думаете о нас вы — никто не знает. И потом, все учителя на посёлке живут. Мы их всё время в “Пятёрке” видим. А вас никогда.

— Значит, мне нужно ходить в “Пятёрочку” и называть вас бестолочами? — шучу я.

— Ну, типа того.

С того самого дня уроки стали другими. Все наконец-то сели по двое, с последних парт переселились на первые. Больше не играли в карты и не доставали телефоны. Правда, половина класса тут же потеряла тетрадки, которые я им купила, и многие опять писали на листочках, но больше не делали из них самолётики. Учебники теперь читали, а не бросались ими друг в друга. Ручки у каждого были свои, и больше не приходилось ждать, пока кто-то запишет и у кого-то освободится ручка, чтобы передать её дальше. Так что стали появляться и тройки, и даже четвёрки. Я теперь старалась пройти за одну четверть весь учебник, выбирая оттуда только самое главное и нужное.

В этот момент ко мне на урок решила прийти завуч, Любовь Александровна. Дети перепугались. Всю перемену решали — куда сесть. На первую парту спихнули Диму Осла. Потом догадались, что она сядет назад, и Димины вещи скинули обратно. На первую села Настя. Поближе ко мне, подальше от неё. Все достали тетради, сложили руки, сели, приготовился писать.

— У нас же литра! — крикнул кто-то.

Все выругались. Достали другие тетради.

Завуч зашла со звонком, обошла весь класс, села на последнюю парту и приготовилась писать свой отчёт.

У нас литература девятнадцатого века. Рассказываю про Тургенева. За него в институте у меня стоит “удовлетворительно”. И я опять думаю, что не так уж и далеко мы с моими учениками стоим друг от друга.

Мы проходим повесть “Ася”. Её, конечно же, никто не читал. Разве что Эля. Но она настолько скромная, что на уроке почти не говорит. Больше мне спрашивать некого, и я начинаю говорить сама. Это, конечно, недопустимо. По новым стандартам говорить на уроке должны ученики. Но мои и так слишком много всего наговорили за всё это время. Да и новые стандарты им как-то не подходят.

Раздаю распечатанный отрывок из “Аси”, и они читают по цепочке:

— “Нас-тало мол-чание. Я продол-жал держать её руку и гля-дел на неё. Она по-прежнему вся сжи-малась, ды-шала с трудом и ти-хонь-ко по-ку-сывала нижнюю губу, чтобы не за-пла-кать, чтобы удер-жать на-ки-нав-шие слёзы”.

В классе была тишина. Страх перед завучем — человеком, обладающим большей властью, чем я, — сковывал их. И они молча и покорно сидели. Только сейчас в тишине я замечаю, как чудовищно они читают. По слогам, коверкая слова, ставя не туда ударения, по несколько раз возвращаясь к одному и тому же слову.

— “И вот теперь всё кончено! — начал я снова. — Всё. Теперь нам до-лж-но рас-статься”.

Смотрят на меня вопросительно.

— Что значит — “должно”? — спрашивают.

— Это значит — нужно, — говорю я.

— “Я ук-рад-кой взгля-нул на Асю... лицо её быстро кра-снело. Ей, я это чув-ство-вал, и стыдно станови-лось, и страшно”.

Урок прошёл быстро и спокойно. Теперь я понимаю, каким он должен быть.

— О чём эта повесть? — спрашиваю я.

— О любви, — говорит Нинка и краснеет.

В другой раз все бы обязательно засмеялись и стали отпускать всякие шуточки, но сейчас они молчат.

— А ты как думаешь? — спрашиваю Ярослава.

— Я думаю, что они не любили друг друга. Когда любишь, ждёшь и прощаешь. А тут — она убежала, а он даже не попытался её догнать.

— А ты бы что сделал? — спросила Настя.

— Я бы догнал, — сказал Ярослав и сам покраснел.

После звонка завуч никого не отпускает и просит меня посмотреть у них домашнее задание. Там должно быть сочинение, но я знаю, что его там нет.

Я прохожу по рядам и смотрю в их тетради. У кого-то тетрадь в клетку, у кого-то в косую линейку, у кого-то по истории.

— У всех есть, — говорю.

Они переглядываются.

— У всех? У всех есть домашнее задание? — переспрашивает Любовь Александровна.

— У всех, — ещё раз говорю, — у всех есть домашнее задание.

Она могла бы проверить, если бы хотела, но она этого не делает. Уходит и просит зайти к себе.

— Я посмотрела, — говорит она, — у вас очень много двоек.

— Да. — Я почему-то чувствую себя так, словно оправдываюсь.

Она вздыхает. Она в этой школе с самого открытия и повидала всякое, но сейчас даже она вздыхает.

— Я скажу прямо. Этот класс, который вам достался, ещё несколько лет назад назвали бы классом коррекции. Но поскольку больше нет такого определения, то учить их приходится вам. Я знаю, что там непростые дети. Они плохо читают, плохо пишут, плохо говорят. Это всё понятно. И учить-ся они уже не начнут.

— Но ещё две четверти впереди.

— Это уже ничего не изменит. Так что мы на вас давить не будем. Единственное, — прибавляет она, — у вас проблемы с Карауловым? Он перестал ходить на уроки?

— Перестал.

— Вы знаете, вызывать там некого. Мать живёт не с ним. Я скажу ему, что если он не вернётся в класс, мы подадим документы в полицию — пусть лишают родительских прав, а его отправляют в интернат.

Я молчу. Ещё месяц назад я была бы только рада избавиться от Андрея, но сейчас... Может, у меня стокгольмский синдром, когда жертва становится зависимой от своего мучителя и не хочет с ним расставаться?

— Вы со мной не согласны? — спрашивает завуч.

— Я не знаю. Нельзя же вот так отказываться от него.

— У вас просто мало опыта. А я уже здесь двадцать с лишним лет. И я вижу одно: если кто-то не хочет учиться — никто их не заставит. Ни я, ни вы, ни министры, ни сам президент. Всё будет бесполезно. Так что не тратьте свои силы.

Возвращаюсь в класс.

— Мы вас не очень подставили? — спрашивают. — Спасибо, что не сдали с домашкой.

— А что, обычно сдают?

— Конечно. Галина Ивановна всё время бегала к директору. Из-за каждой ерунды.

Стопнулись около меня. Дети как дети. У кого-то — новый отец и маленький братик. У кого-то — уже третий отчим, с которым надо как-то ужиться. У кого-то — съёмная коммуналка и чёрт знает что вместо родителей. А кто-то вообще один. И всем им надо как-то с этим управляться. А ещё — интернет, друзья, любовь. И целая жизнь, которую надо куда-то деть. Бой в груди, который ничем не погасить. Вспоминаю Бродского: “Поэзия рождается из шума в сердце”. У них у всех этот шум, который не даёт им жить спокойно. А что из него родится — кто его разберёт...

После уроков, как обычно, ко мне приходит Вика и ждёт меня, чтобы пойти вместе до дома.

Я курю при ней, не стесняясь. Идём мимо её дома в парк при больнице Ухтомского. Вход закрыт, но мы перелезаем через забор.

Садимся на лестницу около морга.

— Ты была здесь раньше? — спрашиваю я.

— Да. Я здесь часто гуляю. А вы?

— Только, когда отпевали отца.

— У вас умер отец? Я не знала.

— Мы не особо общались в последний год. Да брось — обычное дело.

Терпеть не могу, когда начинают расспрашивать. Люди умирают, а все удивляются, словно это случилось впервые и словно они сами будут жить вечно.

Вика больше не спрашивает, чертит что-то пальцами на снегу.

— Замерзнешь, — говорю.

— Да ладно.

Ложится на снег и смотрит вверх. Руки всё-таки замерзают, прячет их в рукава куртки. Мои перчатки отказывается брать. Ложусь рядом и тоже смотрю вверх. Сапоги быстро намокают. Но этого как будто не чувствуешь. Уже ничего не чувствуешь.

— Хорошо бы сейчас наступил конец света, — говорит она. — Все бы умерли быстро и незаметно. Никто бы не страдал. Вы бы хотели, чтобы наступил конец света? Чтобы раз — и всё?

— Тогда к чему были твои предыдущие четырнадцать лет?

— Я и так не знаю, к чему они. Всё сразу навалилось. Скоро девятый класс — а что дальше? Я как будто не знаю, куда идти.

— Значит, не надо никуда идти. Сделай остановку. Как я, когда пришла в эту школу.

— Остановиться. А что дальше?

— Не знаю. Время покажет.

— Всё впереди?

— Ну, вроде того.

— Мне кажется, ничего нет. Родители хотят разойтись. По-моему, они не очень хотели меня рожать. Вот вас хотели?

— Я никогда не спрашивала. Мама родила меня в тридцать четыре года. Думаю, она хотела, да. А отец... Это он выбрал мне имя. А ты бы хотела, чтобы тебя не было?

— Не знаю. Но я себе всё не так представляла. Отец притащил меня сюда, думал, будем нормально жить, семья и всё такое. А теперь, когда они ссорятся, перетягивают меня на свои стороны. Мама — к себе. Отец —

к себе. А я их всех люблю. Мама сейчас съехала, живёт в Быково одна. Папа взял там квартиру в кредит. А я должна решить, с кем останусь.

— А с кем ты хочешь?

— Иногда, когда я приезжаю к ней, она становится той мамой, какую я знала в детстве. Но потом она вспоминает отца, и опять всё снова. “Иди к своему родному. Ты мне не нужна. Мне нужно строить свою жизнь”. А когда я с ним: “Почему ты не звонишь? Не скучаешь по мне. Бросила меня, живёшь там со своим”.

— У неё есть кто-нибудь?

— Был когда-то. Меня ещё тогда не привезли. Она встречалась с одним богатым и хорошим. Готов был забрать её и меня. Но я не поехала. Я сказала — остаюсь с отцом. В итоге они расстались.

— И она обвиняет тебя?

— Да. Говорит, что я променяла её на “своего родного”. А он, и правда, родной. Другого же отца у меня нет и не будет.

— А у него есть кто-то?

— Сейчас не знаю. Раньше были какие-то женщины. Иногда мне кажется, что во всём этом нет абсолютно никакого смысла. Во всей этой жизни. Вообще никакого. Все только работают, работают и жалуются, как им тяжело. Зачем работать, если так тяжело? Зачем нужна семья, если всё равно все несчастливы? Ни смысла, ни радости. Но должно же что-то быть? Так же нельзя.

Нельзя.

— Ты хотела бы уехать домой? — спрашиваю.

— Да.

Достаю кошелек.

— Держи.

— Вы что, не надо.

— Бери. Съездишь в свой Балашов.

— Кто меня пустит без родителей?

Убираю деньги.

— Девочки, здесь не пляж, — какая-то женщина в белом халате и шубе вышла на крыльцо покурить, — идите домой.

После разговора с завучем Андрей стал снова ходить на уроки, но с Ярославом общался так, словно ждал повода для драки. И он вскоре нашёлся. Они долго перекидывались словами. Ярослав что-то сказал, Андрей ответил. Ещё сказал — ещё ответил. Потом Ярослав встал, подошёл к нему вплотную. Встал Андрей. Ярослав толкнул. Тот в ответ. Ярослав замахнулся стулом. Андрей ударил. Ударил по лицу.

Ярослав не слабак, но он отлетел в другой конец класса, сломал спиной край парты. Попытался встать. Андрей ударил ещё. Вскочили Данил, Дима, схватили его со спины за руки. Тогда Андрей ударил ногой. Ярослав уже не встал сам. Я никогда не видела столько крови.

Прибежали все, кто мог, — завуч, Борисовна из соседнего класса. В общем, все, кто был рядом. Ярослава отправили к медсестре, позвонили его матери. Но приехал отец, которого я раньше никогда не видела. Крупный, мощный, похожий на медведя. Совсем не такой, как Ярослав. Злой, явно на взводе.

Андрей стоял, казалось, совершенно спокойно, улыбался.

— Чо ты улыбаешься? — Отец Ярослава, казалось, готов был сам ударить его прямо здесь.

Я смотрела на его крепкие руки. Андрей тоже смотрел, но продолжал улыбаться.

— Что произошло в вашем классе? — спрашивают уже у меня.

— У меня спрашивайте, — сказал Андрей.

— Не лезь, — говорю я ему.

— Да мне всё равно!

Вернулся от медсестры Ярослав. Увидел отца. Удивился.

— А ты чего приехал? — спросил он.

— Ну как чего? — грубый прокуренный бас звучал на весь класс. — Не надо — уйду.

Я поняла — Ярослав сам отца видел не часто.

— Так иди. Сами разберёмся.

Пришёл директор с инспектором, и Валентина Борисовна вывела меня из кабинета и завела к себе. У неё тихо, спокойно, никого нет. Включает электрический чайник.

— Что теперь с ними будет? — спрашиваю я.

— Андрею есть шестнадцать лет?

— Не знаю.

— А кто начал драку?

— Мне кажется, Ярослав первый встал. Но они всегда дружили. Наверное, это из-за меня. Из-за тех тетрадей...

Я сижу так, будто виновата во всём.

— Ну что, ты к ним охрану приставишь?

Она не может показать мне, что боится, — она старше, — но проливает чай.

— Мать Андрея не отвечает на звонки, — говорю я.

— И не ответит. Свяжись с бабушкой. Она работает у нас уборщицей.

Я и не знала. Виделась с ней каждый день, но я даже не замечала её.

— Ничего я не знаю об этих детях, — говорю я.

Беру блюдце, наливаю туда по привычке несколько капель чая. Достая сигареты. Потом вспоминаю, где нахожусь.

— Кури, — машет рукой.

Закрывает изнутри дверь на ключ.

Оказалось — у Ярослава сломан нос и рёбра. Он всегда казался мне таким спокойным. Ничто его не задевало. На уроках последнее время сидел тихо — я забывала, что он есть в классе. Только иногда в нём проявлялось что-то. Какая-то храбрость. Как тогда — с тетрадями. После этого случая его стали как-то задевать всё время.

Однажды Ярослав встал посреди урока, подошёл к Диме Осланову, что-то сказал и сел на место.

— Что такое? — спросила я.

— Ничего, — ответил он.

— Ко мне подойди, — сказал Андрей.

— Надо будет — подойду.

Ярослав был сильным, Андрей тоже. На Ярослава обращали внимание, на Андрея — приходилось из-за его выходок. Своё лидерство в классе Андрей бы не отдал, хотя это лидерство ему было не нужно. Но он к нему привык, дети к нему привыкли, учителя к нему привыкли, все к нему привыкли. Андрей передрался с пятого класса, наверное, со всеми. Доказал всё, что мог. Но терпеть кого-то другого такого же он бы не стал.

Всё-таки звоню его маме.

— Это из школы. По поводу Андрея Караулова.

Бросает трубку. Набираю ещё. Не берёт.

Ярослав в школе больше не появлялся.

— Он этого так не оставит, — говорили все, — или ножом пырнёт, или ещё что.

Меня вместе с Андреем вызвали в детскую комнату на допрос.

Пишу характеристику. “Интерес к учёбе — средний. Успеваемость — хорошая. Интересы — спорт. Материальное положение — стабильное. Есть отдельная комната, есть место для занятий и прочее. Отношение к учителям — уважительное. Отношения с одноклассниками — хорошие, дружеские”. И так далее. Переписываю несколько раз. Всё это неправда. Это все знают, но я всё равно пишу.

Самого Андрея, по-моему, всё это не очень волнует

Инспектор задаёт один и тот же вопрос — как началась драка, кто был инициатором, кто первый ударил. Андрей молчит. Его задевает, что я хожу везде с ним вместо матери. Но больше никому.

В детской комнате сидит серьёзный взрослый полицейский в форме. Андрей стоит за моей спиной, переминается.

— Три удара подряд. На самооборону не тянет. Получается, как минимум, превышение. Как максимум — нанесение тяжких телесных повреждений. Сколько было лет на момент преступления?

— Пятнадцать.

— Будем думать. Караулов, выйди.

Андрей нехотя выходит.

— Что же у вас в школе творится? Если бы ему было шестнадцать — два года лишения свободы. Что с детьми вашими происходит? Пятнадцать лет — они уже здесь. А дальше что? Колония? — Пишет что-то. — Мать, отец есть у него? — спрашивает, не переставая писать.

— Да нет у него никого.

Отрывается от своих листочков. Говорит чётко и жёстко. Работа такая.

— А если бы Чекалин у вас там умер?

Встаёт. Ходит по кабинету. Думает. Сам тут недавно — видно. Да и не он принимает решения. Но всё равно думает.

— Я два года служил в Афгане. До самого конца. Попал под призыв. Сами понимаете. Столько всего видел. И молодых. И старых. Разных. Забирали, не спрашивая. Все хотели жить. Без рук, без ног — не важно. Жить. А жили не все. А сейчас... Мирное время. Всё есть. Деньги — заработай. Девки — будут. Учись спокойно, коси от армии. А не откосишь — год отслужишь, не поломаешься. Что ещё надо? Живи — не хочу. А не живут. Не хотят. Сигают из окон, обкальваются всякой дурью. Морды друг другу бьют. По мне, не хочешь жить сам — не живи. Но не порти нервы другим. А вы трясите над ними. Я бы ему два года дал и посадил бы — всё равно ничего хорошего не вырастет. Шанс хотите каждому дать? Возможность проявиться? А не проявится. Время не то. Мы другие были. Не такие, как эти.

— Время другое было. Они не виноваты. Что они хорошего видят? Четыре стены и экран монитора?

— А мы что видели?

— У вас была идея. Цель.

— Цель... Провалилась ваша цель к чертям собачьим. Так же нельзя.

Вы же понимаете. А они знают, как можно? — Он кивает на дверь.

— Нет. И они не знают. Поэтому и сигают из окон. И морды бьют. По-другому не умеют. И будут бить ещё очень долго. А потом сделают такое, что вам и не снилось в ваши девяностые. И вы их посадите. И будете правы. Потому что то, что они сделают, — это будет страшно. Они никого не боятся и никого не слушают, и никого не уважают. Да и за что уважать? Вы на войне многое видели за два года, а я — в школе многое за год. Есть там вещи, которые не стоит уважать. И они это видят. Они же чувствуют лучше вас любой подвох. Вот вы его просмотрели в своё время. Поверили кому-то. А они чувствуют, что что-то не так. И никому не верят. Только выразить не умеют. Поэтому и ведут себя так. Они же понимают, что всё, что мы говорим им сейчас, — это чушь. Неправда. Всё неправда. Не то надо говорить. Не фальшивить. А мы фальшивим. Боимся. Заперлись у себя — и боимся. Слово боимся сказать. Они этого не прощают. Поэтому и ненавидят.

— Кого?

— Всех.

— Слушайте, давайте я буду один ходить? — говорит Андрей на улице.

— Помолчи уже. Сделал всё, что мог.

— А вам что-то будет за это?

— Мне-то что? Уволюсь и всё. О себе думай.

— Не увольняйтесь. Хотите, я извинюсь перед Чекушкой? Я же не знал, что так будет. Я, когда злось, не понимаю, что делаю. Как в тумане всё.

Я останавливаюсь и смотрю на него. Он как будто стал намного старше за год. По-прежнему невысокий — с меня ростом, но такое ощущение, что не ученик мой, а старший брат. Грубит всё время. За спиной учителям говорит “ты”. Улыбается криво. Всё время что-то выигрывает в свой футбол,

а двух слов связать не может. Только и умеет долбить по своему мячу. Хочет в физкультурный институт. Но для этого нужно пойти в десятый. А какой ему десятый, если он и восьмой не может окончить?

— Да иди ты к чёрту, — говорю я, — футболист. Всю голову, видимо, отбили. Не приходи больше. Видеть тебя не хочу. Сиди лучше дома.

Через месяц Ярослав гордо вернулся в класс, весело рассказывал всем, как лежал в больнице и там научился курить с мужиками. Андрея оставили в покое. Признали превышение допустимой самообороны, но по возрасту дали только предупреждение. Все в школе выдохнули. Андрей продолжал ходить на уроки. Но теперь сидел тихо и писал всё, что я говорю. Демонстративно сел на первую парту и прочитал первое в своей жизни — рассказ Льва Толстого “После бала”.

— Я хочу попробовать в десятый, — сказал он. — Вы останетесь?

— Экзамены сначала сдай.

Я перестала пытаться понравиться ему, поэтому стала сама вести себя, как обиженный ребёнок. Отвечала грубо или не отвечала вообще.

— Я всё сдам. Мы все сдадим. Вот увидите.

В этой жаре могилу нелегко найти. Страшно — вдруг не вспомню, где она. Кажется, направо. Посреди дороги растёт дерево. Помню, как на похоронах страшно и неуклюже несли гроб. Шли прямо по чьим-то могилам, потому что прохода не было. Передавали друг другу тяжёлый, обитый красным. Переносили на вытянутых руках. “Только не уроните”, — кричала мама.

Сразу за деревом — могила отца. Памятника ещё нет. Только крест и фотография под ним. Отцу сегодня полтора года.

— Надо бы памятник поставить, — говорит мама. — И ограду покрасить.

— Покрасим, — говорю.

Уже стоят искусственные цветы. У отца — фиолетовые. Он всегда любил этот цвет.

— И лавочку поставить.

— Поставим.

— Я всё-таки себя виню, — говорит мама. — Если бы мы не развелись... Не разменяли квартиру... Но у него какой характер был... Один раз пришёл, хотел хлеба чёрного. А чёрного не было, был только белый. А он любил чёрный с селёдкой. Я сходила, кушила. Хлеб, селёдку. А он взял и уснул. Полчаса звонила, стучала. Не открыл. Ключи я что-то не взяла. А холод — зима была. Пошла в кино. Так с этой селёдкой и сидела два часа в кино. Она потекла. Запах стоял страшный. Всякое было. Тяжело жили.

— Но что теперь вспоминать. Он умер. Нет его. Нет человека. Всё.

Молчим. От чёрных мраморных памятников — жар. Должна быть гроза — и в воздухе парит.

Смотрю на фотографию отца. Ему там двадцать один год, сразу после армии. Другую не нашли, не искали — не до того было. Красивый. Молодой. Жениться собирался. Не на маме. На маме — потом. Фотографировался для чего-то. Чёрно-белая. Не улыбается. Он редко улыбался.

Идём обратно.

— Вам, наверное, не стоит снимать комнату, — говорю я маме. — Живите в нашей квартире. Я пока у отца поживу. Рядом с работой.

— Там же пьяницы одни. Лучше уж мы там.

— Всё равно ремонт хотели делать. Я пока начну. Найму кого-нибудь.

— Зачем нанимать? Мой Саша всё сделает. У него, знаешь, руки какие. Я улыбаюсь.

— Про отца тоже так недавно сказали.

Мама обнимает меня. Всё как-то темнеет и кружится. И глаза режет, как от яркого света.

— А что написать на памятнике? — спрашиваю.

— Можно просто имя и дату жизни.

- А ещё что-нибудь можно?
- Что хочешь напишут.
- А можно просто: “Папе”?
- Можно.

На перекрёстке расходимся по своим дорогам. Мама — на маршрутку. Я — пешком в свою сторону.

— Звони, — говорит мама, — кроме тебя, у меня никого не осталось. Знаю.

8

Двадцать третье марта — день рождения Вики. Это уже каникулы. На столе лежат деньги на новый телефон. Вика берёт деньги, идёт в ближайший “Связной”. Телефон, который она хочет, стоит дорого. Мальчик-продавец аккуратно распаковывает его, включает, показывает, как делать фото, включает музыку. Ей всё нравится. Она покупает, идёт домой. Идёт мимо церкви и фотографирует её. Получается не очень ярко — белые стены на фоне серого мартовского неба. Уже не так рано, и колокола бьют к полудню.

Вика впервые услышала их год назад — в своём городе. Она встречала бабушку из церкви. Было пять часов — должна была начаться вечерняя служба. И вдруг неожиданно стали бить колокола. Так, словно созывая всех. Людей почти не было — будний день. Но колокола били так, словно площадь полна верующих. Никто не заходил в церковь, никто не выходил из неё. Но колокола били и били. Им ничто не было важно, кроме их собственного звона.

— Раньше колокол бил по покойнику, — сказала бабушка, — сколько раз бил, столько лет было умершему.

— А сейчас? — спросила Вика.

— А сейчас каждый день кто-то умирает, всех не перечесть.

Колокола били ещё долго. Сотни ударов, словно по всем покойникам сразу. И до самого дома Вика слышала их звон.

В своё последнее лето в Балашове она часто заходила в церковь. Помогала там по мелочам. В городе деревянная церковь. Маленькая — раза в два меньше этой, но на службе было много народа, хотя тяжело выстоять. Вика стояла. Стояла, молчала, слушала.

Вечером приходит отец. Приносит цветы. Вика ставит их в трёхлитровую банку, потому что вазы нет. А он садится на кухне. Мама теперь живёт в Быково и сюда не приезжает. Вика садится рядом, делает себе чай. Отец обнимает её одной рукой.

“Совсем как семья”, — думает Вика.

— Видела, что творится? — отец делает телевизор громче.

В новостях показывают апрельские наводнения. В Ростовской, Самарской, Саратовской областях, Краснодарском крае.

— Интересно, как там наш Хопёр? — спрашивает он.

Хопёр — это река, два часа пешком от дома. Или сорок минут на автобусе. Будет набережная — грязный песок, каменные ограждения, запах гнилой воды и рыбы. Говорят, в эту реку сбрасывают все отходы. Но там всё равно купаются. Когда-то это была большая река, по ней ходили суда — сейчас маленькая несчастная речушка. Но в апреле, когда сходит снег, эта маленькая речушка разливается на весь край.

Паводки в Балашове бывают часто, но к ним привыкли, готовятся, и всё обходится. Только однажды Вика видела настоящее наводнение.

Было начало апреля. Рано сошёл снег, рано потеплело. И живая вода пошла. Скрыла под собой весь левый берег. Подошла к самым домам. Дома поплыли вместе с рекой. Две части города были отделены друг от друга, и никакого сообщения между ними не было.

Была объявлена чрезвычайная ситуация, звучала воздушная тревога. Из-за этих паводков отключили на несколько дней воду, транспорт ходил с перебоями. Каждый день сообщали об уровне воды. Все сидели, отрезанные от

цивилизации. Тогда все чувствовали свою страшную беспомощность перед надвигающейся водой. Чувствовали — но было чертовски хорошо. Весь город жил одной жизнью. Все были охвачены одной проблемой, одной бедой. И от этого становилось спокойно и радостно.

У них не ловил местный канал — и Вика бегала к соседям смотреть новости. Они наливали ей чай, и она сидела у них до вечера.

Потом отключили свет — и уже соседи бегали к ним за свечками. В темноте искали спички, зажигали. На газу грели ужин. Дверь не закрывали. И кто-то всё время приходил и рассказывал последние новости.

— Так однажды было в Москве, — рассказывал отец. — Тебя здесь ещё не было. Отключили электричество в нескольких районах. И в Люберцах тоже. Метро встало. Больницы на автономном режиме. Ни телевизора, ни воды, ни света, ни радио. Ничего. Полностью отрезаны от мира. И случилось то вечером, часов в шесть. Час пик. Народу битком. А ни метро, ни электрички, ничего. Конец света. Съездил на машине в Жулебино, купил на всех воды. Взял последние три бабды. Больше не было — всё скушили. Потом ездил за водой в Раменское. Их не коснулось. Так два дня и сидели. Сидели все вместе, на кухне, зажигали газ, чтобы светло было. Страшно. Но это лучшее, что я помню.

И это — лучшее, что помнит Вика.

— Наиболее подвержены воздействию стихийного бедствия поймы рек Аткара, Медведица, Хопёр, Большой и Малый Узень, Большой и Малый Иргиз, Карай, Терса. В зоне затопления могут оказаться более двадцати километров автомобильных дорог, двенадцать мостов, около десяти населённых пунктов, до трёх с половиной тысяч человек. Наиболее вероятные чрезвычайные ситуации, связанные с паводком, прогнозируются в Аткарском, Лысогорском, Балашовском, Пугачёвском и Самойловском районах. Общий материальный ущерб от стихийного бедствия может составить от двух до пяти миллионов рублей.

— Пап...

— Слышу.

— Значит, он опять пошёл.

— Да, сил затопить ближайšie дома у него хватит. Но мы же здесь — не переживай.

— А бабушка?

— Она в деревне. В Майском.

— А если затопит его?

— Да какая разница! — разозлился отец. — Пусть хоть всё зальёт. У нас там ничего не осталось.

Ничего не осталось. Никого не осталось. А бабушка?

Вика выходит на улицу. Сквозь серые облака, покрытые дымкой, видно яркое слепящее апрельское солнце. Ничего не осталось. Всё затопило. Хочется закричать. Изо всех сил. Закричать так, чтобы разбились окна соседних домов, чтобы это был крик падающих с неба, задыхающихся на земле птиц или крик человека, оставшегося в глухом лесу, осознавшего, что он один, осатанелого от этой неожиданно свалившейся на него свободы. Хочется, чтобы солнце упало на землю, сожгло её и возродило вновь.

Но чтобы закричать, нужно набрать в лёгкие воздуха. А его нет.

9

Учебный год начнётся только через три месяца, но я продолжаю ходить в школу. Кого-то встречаю, разговариваю. Иногда вижу своих учеников. Восьмой класс они окончили без двоек. Теперь все ждут сентября.

— Я скоро уеду, — говорит мне Вика, и её серые глаза темнеют. — Не могу здесь больше.

— А школа?

— Там доучусь.

Она уже в девятом классе, может взять билет на поезд и уехать. Мне почему-то кажется, что я первая, кому она это говорит.

— Почему вы молчите? Мы, наверное, больше не увидимся.

Я знаю — в её городе ей будет лучше. Там пахнет жизнью. Там живые колокола и живые реки. Живые люди. Всё меняется, и всё остаётся прежним. Таким, каким и должно быть.

Мне бы тоже хотелось уехать куда-нибудь, где бы никого и ничего не было, не было бы всего этого. Но для меня есть лишь здесь и сейчас. А в этом здесь и сейчас пока ничего нет, разве что эта короткая дорога и эти сотни километров, найденные нами по ней, как арестованными.

— Береги себя, — говорю.

— И вы.

Мне хочется её обнять, но, наверное, это не принято. Она уедет на следующий день, а в моём городе начнётся ещё одно жаркое лето. Будет пахнуть расплавленным бетоном, а захочется снега — много-много, чтобы он завалил все дороги, все вокзалы, подъезды домов.

Идём за школу, туда, где вход в начальную, где дети обычно курят после уроков. Садимся прямо на лесенку под крышей. Дождь стучит. Холодно. Но хорошо. Зонта нет, и волосы быстро моknут, становятся тяжёлыми. Вика их распускает. Они у неё длинные — уже ниже плеч. Отросли за это время почти до лопаток.

Молчим. Не хочется говорить, но и уходить не хочется.

— Что будете делать? — спрашивает она. — Не уйдёте из школы?

— Нет. Останусь ещё на год. А там посмотрим.

— Сколько вам лет?

— Двадцать пять.

— Двадцать пять... А что-нибудь изменится, когда мне тоже будет двадцать пять?

— Ну... Морщины вокруг глаз, — пытаюсь шутить я. — Придётся покупать специальный крем.

— Я уже покупаю, — говорит Вика серьёзно.

— Наверное, придётся работать.

— Это не страшно. А что ещё?

Поднимает глаза. Серые. Холодные. Жёсткие. Сейчас они уже не такие, в какие хочется всматриваться долго. А такие, в какие не хочется всматриваться вообще. Но я всматриваюсь.

— Тогда не знаю, — говорю. — Ничего не изменится.

Улыбается. Первый раз за всё время. Так, словно её никто не видит. Вдруг слышится шум, как показывают в военных фильмах при воздушной тревоге. Гул идёт, кажется, по всему небу. Раздаётся эхом. Нарастает. Негромкий, но монотонный и тревожный. Становится трудно дышать. Хочется посмотреть вверх, но там ничего нет — только небо, мутное от дождя.

— Что это? — спрашивает Вика испуганно.

— Учебная воздушная тревога. Последнее время часто включают. Наверное, тренировка. Не бойся. Сейчас пройдёт.

Ждём. И правда, через какое-то время проходит. Можно вдохнуть.

Смотрю на её лицо, пока она не видит, и представляю, как она приехала сюда из своего этого Балашова. Не понимаю, за каким чёртом отец привёз сюда эту девочку? В этот дикий мутный город.

Балашов. Точка на карте. Её почти и не видно. До неё отсюда десять с половиной часов. 596 километров. 596 километров по этим страшным дорогам.

— Знаете... — говорит Вика.

— Что?

— Дождь, похоже, на целый день.

— Похоже.

— Что будем делать? — говорит.

Я пожимаю плечами:

— Может, пройдемся? Хочешь?

— Хочу.

Но мы сидим и не двигаемся.

Хочется сидеть так до вечера. Пока не кончится дождь. Пока не появится

солнце. Пока дождь не начнётся опять. Пока не наступит сентябрь. И эти дороги не заполнятся сотнями людей. Бесконечным потоком людей.

Бесконечным потоком людей...

Я вдруг думаю — не было этого года. И предыдущего года. И вообще всех этих лет. Ничего не было. И нет. Есть только здесь и сейчас. Здесь и сейчас. И в этом здесь и сейчас — два человека, идущих разными дорогами чёрт знает куда.

Через неделю Вика уехала. Вечером, по дороге из школы, я машинально останавливаюсь около её дома, ищу в сумке сигареты, но неожиданно достаю листок бумаги. На ней детским неуверенным почерком написан адрес и стоит подпись “Майское”. Листок приятно хрустит в руках. Я достаю телефон и прокладываю маршрут — ехать всего пятнадцать часов.